

ДИНА РУБИНА

**ВОТ ИДЕТ
МЕССИЯ!..**

Дина Рубина
Вот идет Мессия!..

«ЭКСМО»
1995-1996

Рубина Д. И.

Вот идет Мессия!.. / Д. И. Рубина — «Эксмо», 1995-1996

ISBN 978-5-04-139972-6

Роман «Вот идет Мессия!», с бесконечной свистопляской десятков его персонажей, конечно же, самый болевой в моей творческой биографии. Самый глубокий, самый трагический и... самый стремительно-счастливый. Это калейдоскоп той самой жизни, которая несется вскачь, не интересуясь – как ты там, держишься еще в седле или уже сверзилась на камни? Несется, несется вскачь, меняя рельеф творчества. Дина Рубина

ISBN 978-5-04-139972-6

© Рубина Д. И., 1995-1996

© Эксмо, 1995-1996

Содержание

Часть первая	5
1	6
2	15
3	19
4	29
5	39
6	43
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Дина Рубина

Вот идет Мессия!..

Часть первая

Я верую полной верой в приход Мессии, и хотя он медлит, я буду ждать каждый день, что он придет.

Маймонид. 13 принципов веры

– Доброе утро, дорогие радиослушатели! Радиостанция «Русский голос» начинает свои передачи из шестой иерусалимской студии. Сегодня девятнадцатое марта, вторник, по еврейскому летоисчислению – каф зайн месяца адара, пять тысяч семьсот пятьдесят пятого года. Прослушайте сводку новостей, с которой вас познакомит Алона Шахар.

– Пятеро солдат убиты и четверо ранены в результате вчерашних столкновений с террористами из отряда «Хизбалла» на границе с Ливаном. Боевики «Хизбаллы» привели в действие взрывное устройство, когда наши солдаты патрулировали...

1

– А между тем Машиах придет в две тысячи седьмом году! – Сема закурил и, спохватившись, стал ковшиком ладони предупредительно гонять дым перед носом собеседницы. – И я это с детства знал.

– Да? – вежливо заметила она, размешивая ложечкой сахар в кофе.

Буквально минут за пятнадцать до того они закончили писать в студии радиопередачу на тему «Литературная Родина». Сема, ведущий передачи, спрашивал ее, редактора литературного приложения одной из русских газет, – возможно ли, по ее мнению, дальнейшее развитие русской литературы в условиях Ближнего Востока. И она абсолютно серьезно отвечала, хотя за выступление не платили, как и за многое другое. Да если б и платили? Смешно, копейки... Нет, это она из дружеского расположения к Семе согласилась прийти и, рискуя репутацией приличного человека, нести в эфире тошнотворную ахинею: да, она считает, что... уникальная культурная ситуация... благодаря массовой репатриации в нашем государстве образовалась концентрация творческих сил... влияние на дальнейший расцвет...

Какой расцвет?! Расцвет – чего?! Дайте спокойно умереть... Впрочем, Семины литературные передачи шли на Россию, а значит, их никто не слушал.

Под конец, перечисляя авторов своего литературного еженедельника, она увлеклась и разогрелась настолько, что даже прочитала несколько строк стихотворения Вали Ромельта. Словом, забыла – где и зачем находится.

– Ну что ж, впечатляет! – суетливо перебил ее в конце строки Сема Бампер, глядя на часы и пальцем рисуя в воздухе круг. – Итак, напоследок буквально два слова: ваши планы?

– Планы? – переспросила она. Своими идиотскими кругами перед носом Сема сбил ее с настроения. К тому же о планах публикаций на ближайшие номера она уже говорила.

– Ну да. В глобальном смысле.

И опять судорожные круги в воздухе, обеими руками: закругляйся, мать! В глобальном смысле, подумала она, эту передачу никто не услышит.

– В глобальном смысле, – гордо и даже торжественно сказала она в микрофон, – мы и впредь намерены выплачивать авторам небольшой, но твердый гонорар.

Сема подавился заранее приготовленной репликой, должной завершить эту кругленькую передачу.

– Ну, гонорар! – воскликнул он бодро. – Это не главное в творчестве, а лишь незначительное производное.

– К сожалению, незначительное, – поспешно согласилась она. – Зато мы с моим коллегой, графиком Витей, вот уже пятый год получаем приличное жалованье. Разве это не победа над хаосом эмиграции?

Сема округлил глаза, замахал руками и выключил микрофон.

– Вырежу! – пообещал он. – Оборву на стихах Ромельта и пушу Дюка Эллингтона... Хороша, нечего сказать! Гонорар, жалованье, деньги... Старуха, ну нельзя же так... приземленно смотреть на высокое.

– По поводу высокого, – сказала она, вздохнув, – мы чуть ли не единственные, кто платит авторам в этой е...ной русской прессе...

Потом они спустились в местный буфет – большую, вполне уютную комнату на первом этаже, с панелями, незатейливо обшитыми формайкой, – и взяли по чашечке кофе.

Ей вообще-то хотелось пива, но неудобно было обременять Сему – он угощал. Порядочки: за выступление авторам они не платят, но могут оплатить такси и – как стопарь водки грузчику после работы – сводить после передачи в буфет.

Сема, как и многие, заблуждался по поводу ее пристрастий, она бы сейчас выпила пива. А может, и граммов пятьдесят коньяка – перед тем, что ей еще сегодня предстояло. К тому же он вдруг затеял этот идиотский разговор о Машиахе, и она побоялась опять выглядеть слишком приземленной со своей просьбой о пиве.

– А я попробую задержать на год его пришествие! – лукаво и победно закончил он, раскачиваясь на задних ножках стула.

– Зачем? – осторожно спросила она. То, что евреи екнулись на пришествии Мессии (поздешнему Машиаха), она, конечно, знала и раньше. Но то поголовное, повсеместное, профессиональное ожидание Мессии (ожидание, с вокзальным, справедливо добавить, оттенком), с каким она столкнулась в этой стране, поначалу ее даже обескуражило. К счастью, она сразу поняла, что Ожидание является здесь образом жизни, основным ее содержанием, а она свято относилась ко всему, что составляло основное содержание жизни любого человека.

А тут еще две тысячи лет... С застарелыми болями вообще следует обходиться осторожно, и никаких резких движений.

Сема подался вперед, хлопнувшись на все четыре ножки стула.

– Понимаешь, мне по гороскопу положена в скором будущем одна величайшая международная премия в области изобразительного искусства. Мне ее сперва получить надо, а потом уж... Вообще же, Машиах... – Сема остро глянул на нее из-под колючей брови, и она вовремя сделала преданное лицо, все-таки он угощал. – С этим, видишь ли, не все так просто. Ведь Машиахом могут стать некоторые из нас, пути не заказаны. В конце концов, в еврейской традиции, то есть в источнике, Машиах – вполне телесный, реальный человек, полный сил и радости. В ТАНАХе сказано: «Говорил Давид: буду веселиться я пред Господом». А еще сказано: «И Давид плясал изо всех сил пред Господом; а опоясан был Давид льняным эйфодом». Так что вот, живешь ты, живешь... и вдруг ощущаешь в себе концентрацию неких мощных сил... Так что опрощать не стоит. Ибо Машиах – это... – Он пристально и многозначительно рассматривал столбик пепла на сигарете.

– Это ты? – кротко догадалась его собеседница.

Сема запнулся, внимательно поглядел на нее, что-то прикидывая в уме, и наконец проговорил:

– Помолчим пока об этом!

Он проводил ее до проходной, очень складно разместившейся в этом доме старой арабской кладки. Внутри все было перестроено и модернизировано: автоматически раздвигающиеся двери, зеркала, стойка с телефонами, за которой сидели солдаты – двое парней и девушка.

Они громко над чем-то смеялись и, смеясь, машинально отдали ей паспорт, который она час назад сдала, получая пропуск на студию.

– Ты куда – домой? – спросил Сема, по-домашнему оправляя на ней воротник плаща. – А мне еще экскурсию вести.

– Ты водишь экскурсии? – удивилась она, хотя давно уже дала себе слово не удивляться ничему в этой стране, и в частности Семе Бамперу.

– Да я бы с удовольствием послал на фиг всех туристов, но, видишь ли, – Сема улыбнулся застенчивой улыбкой, – моя слава ведущего русского экскурсовода бежит впереди меня.

Она представила себе Семину славу, трусящую впереди него в образе собаки, на бегу выкусывающей блох. И как Сема поспекает за этой своей славой, поддавая ей ногой под хвост.

Сема Бампер давно уже поражал ее жизнерадостной доброжелательностью ко всем, широтой души и абсолютной незлобивостью. А ведь в молодости Сема был боксером, подумала она. Бил морды, надо полагать. И ему били... До известной степени Сема оставался для нее загадкой.

– А кого ты сегодня водишь? – спросила она.

– Одну миллиардершу-магометанку из Набережных Челнов и ее рабыню-христианку, – сказал Сема. – Раскидаю их по святыням, и будь здоров...

Нет, прочь, прочь отсюда, пока бедный разум вмещает хоть какое-то подобие реальности... Миллиардерша-магометанка. Причем из Набережных Челнов. И ее рабыня, значит. Христианка.

– Рада была повидать тебя, – сказала она и пошла вверх по узкой и крутой улице Королевы Елены, по которой всегда боялась ходить в сумерках. Улочка была не из приятных: слева тянулся забор столетней каменной кладки, справа зияли мусорные подворотни – эта улица спускалась к старому и неуютному району Мусрара, граничащему с Восточным Иерусалимом.

Ничего, спокойно: отсюда метров сто до освещенного перекрестка, до пригласительно светящихся полуарочных окон курдского ресторана «Годовалая сука». Иди ровно, дыши легко и не оборачивайся на подозрительные шаги за спиной... Да, а в «Годовалой суке» подают великолепный «марак-кубэ», острый суп, в котором плавают большой жареный пирожок... И недорого, шекелей семнадцать...

Сзади щелкнул затвор оружия.

Шея!!!

Она рывком – как всегда, нелепо, жалко дернувшись, – оглянулась.

За нею неторопливо трусил старичок с пуделем, пощелкивая кнопкой переключения длины ремня на ободке поводка. Мирный старикан, очаровательный пудель. Человек прогуливает своего пса, идиотка ты несчастная.

Не вернусь сегодня, решила она. Чтоб мне провалиться, – именно сегодня ехать нельзя!

На остановке она позвонила домой из телефона-автомата. Взял трубку муж.

– Я не вернусь сегодня, – сказала она.

– А когда-нибудь вернешься? – спросил он, как обычно, по отношению к ней – насмешливо-меланхолично. Он был человеком сильных страстей и ради нее когда-то в одночасье пустил по ветру всю свою прошлую жизнь.

– Когда-нибудь вернусь. Ты уложил Мелочь?

– Да спит, спит...

– А Кондратику температуру мерил?

– Не волнуйся, он даже немного поел... – Мелочь – была семилетняя дочь, вымученный поздний ребенок. Кондратик – годовалый тибетский терьер, единственная радость сердца, внимательный собеседник и душа-человек.

– Зяма! – сказал вдруг муж, и она задержала трубку. – Вы мне нравитесь! Вы – неброская женщина, но мне вы подходите. Кто у меня остался, кроме вы!

Она засмеялась и повесила трубку.

Успела вскочить на подножку автобуса. Завтра семичасовым ехать на работу в Тель-Авив, и действительно, разумнее переночевать у родителей.

Они снимали квартиру в двух минутах ходьбы от автобусной станции.

* * *

Это мужское имя она получила в честь деда Зямы, Зиновия Соломоновича, старого хулигана, остроумца, бабника и выпивохи, комиссара и гешефтмахера, – коротышки дьявольского обаяния.

Его невестка, родив вместо ожидаемого сына недоношенную девочку, все-таки упрямо назвала ее Зиновией – к ужасу и возмущенным воплям всей еврейской родни.

У евреев запрещено называть новорожденного в честь еще живущего человека. Считается, что этим ты как бы намекаешь живому, что ему уже есть какая-никакая замена поновее и он может быть свободен от занимаемого на земле места.

Если вдуматься, так это действительно некорректно. Что ей – мало было имен, тем более женских – легких, звучных, раскатистых: Регина, например, Маргарита, Вероника...

Но мать была упряма, молода, по отцу вообще была русской (а у тех, наоборот, принято называть детей в честь вполне еще полнокровных людей). На еврейские обычаи и заведенные давным-давно привычки мать смотрела со снисходительным спокойствием. К тому же она боготворила деда. Впрочем, как и все женщины, когда-либо его окружавшие.

Поначалу в семье пробовали называть девочку Зиной (Зиночка, Зинуля). Но она уродилась такой копией деда, особенно в раннем детстве – до карикатурного сходства: щеки свисали на плечи, крепкие толстые ножки проворно семенили вразвалочку, круглые зеленые глаза так лукаво и пристально разглядывали этот мир, что домашние сдались. Она была Зямой, урожденной Зямой, и ничего тут уже не поделаешь.

И так, под обиженные причитания еврейских теток и дядьев, прожили они – Зяма и Зяма – во взаимном обожании целых девятнадцать лет, до того дня, вернее, утра, когда дед не проснулся, не открыл глаз, не вставил новенькую дорогую челюсть, не крикнул на всю квартиру: «Мамэлэ, иди послушай этот сон, ты лопнешь со смеху!»

Он умер во сне мгновенной легкой смертью праведника, с вечера... – да, по-видимому, без этой детали не обойтись, – с вечера вымыв ноги.

Вот это «с вечера вымыв ноги» упоминалось в родне непременно, когда заходила речь о смерти деда Зямы, словно в этом немудреном действии заключен был некий мистический смысл очищения от праха земной юдоли, а возможно, и от конкретных земных грехов краснобандитской его юности, с ее боями, погромами и пьянством, с его знаменитыми комиссарскими сапогами.

Дед умер во сне, с вечера вымыв ноги.

Понятно, что на этом могли заикнуться тетя Бася, Фира или дядя Исаак, ну даже отец – куда ни шло. Но Зяма-то, Зяма! – к тому времени студентка второго курса консерватории, – при чем тут это предсмертное омовение ног?!

Нет, и много лет спустя, рассказывая о смерти деда, заранее дав себе слово обойтись без уточнения никому не интересных обстоятельств, она говорила светло и просто:

«Дед умер во сне, как праведник... – и, чувствуя, как некая смысловая сила, подобная тугой струе воздуха, втягивающей соринку в хобот пылесоса, тащит ее к завершению фразы, покорно и тихо заканчивала: —...с вечера вымыв ноги».

Дед умер в разгар ее первого романа, о котором знал только он, он один («Ай, мамэлэ, брось, он не стоит твоих вдохновенных соплей! Не подойдет этот, возьмем другого»).

К тому времени Зяма переросла деда на целую голову, возможно, благодаря своей невероятной шее.хлопот с этой шеей было немало: высокая поднялась шейка, с характерным прогибом, – девочку с детства затаскали по врачам. Мать волновалась: не зоб ли это намечается? Записывались в очередь к светилам эндокринологии, сдавали анализы. Пока наконец пожилая женщина, врач, профессор Сарра Михайловна Крупская (визит пятьдесят рублей) не сказала: – Оставьте вы ребенка в покое. Это именно то, что в сказках зовется «лебединой шеей».

Позже, когда вполне уже выросла – к десятому классу, Зяма научилась своей шеей пользоваться, когда это было нужно: черная бархотка, кованный, грузинской искусной работы ошейник, кружевной высокий воротничок, и над этим – очень короткая (не заслонять же такую шею!) стрижка...

Все это были сильнодействующие средства.

Нет, не собираюсь я описывать ее внешность. Да и что еще не описано? Все описано. Возьмите лоб: высокий, низкий, покатый, скошенный и т. д. Это – что касается формы. Фактура: гладкий, бугристый, чистый, прыщавый, обветренный и пр. Цвет: бледный, смуглый, желтый, красный, синий, коричневый... да практически все цвета и оттенки. Ну, вот еще – пятни-

стый, если вам угодно. Состояние: вспотевший, холодный, горячий, остывший... Да смотрите, в конце концов, «Словарь эпитетов»!

Нет, все описано. Даже мочки ушей. Даже корни волос. Нет нужды напрягаться.

Но вот эта шея – трогательной красоты и стати, и ладно посаженная на ней аккуратная головка... Ничего особенного – короткий темный шатен и расхожий набор черт лица, выточенных и пригнанных природой ловко и с явной симпатией, – вот и вся Зяма, не считая, конечно, всего остального – в юности тонкого, узкого, незамечаемо легкого, как змейка, к сорока же годам...

Кстати, о возрасте.

Зяма, как и всякий российский интеллигент, страдала раздвоением личности. То есть она не очень и страдала, просто жила каждую минуту с разных точек зрения. Поворачивала эту данную минуту и так и сяк, рассматривала ее под разным освещением. С одной стороны, конечно... Но с другой стороны...

Возьмем такую несомненную данность, как возраст. Человек рождается, и так далее. Соответственно, каждый год ему исполняется столько-то и столько-то. И наконец, исполняется ему сорок. Это с одной стороны.

С другой стороны, Зяма твердо помнила, что ей четырнадцать лет (известно, что каждый человек застывает на каком-то своем, присущем его психике, нервам и мироощущению возрасте).

Недавно, к примеру, побывала Зяма у врача.

Специалист, быстроглазый хмурый мужчина со шкиперской бородкой, минут пятнадцать деловито занимался Зяминой, вполне заурядной, грудью – где-то поприжал, где-то пробежал пальцами, как по клавиатуре, помял под мышками, заставлял поднимать и опускать руку. С левой возился дольше, видно, она ему больше понравилась: прижимал и отпускал, рассматривал, откинув голову и прищурив глаз; он как-то обособил ее от правой... Словом, показал себя эстетом. Потом разрешил одеться и сел к компьютеру.

– Сколько тебе лет? – спросил он, набирая что-то на экране. К этому Зяма привыкла – к тому, что в иврите нет обращения на «вы».

– Четырнадцать, – обронила она задумчиво, застегивая лифчик.

За ее спиной перестали щелкать по клавиатуре, повисла вежливая пауза. Зяма продела руки в рукава свитера, натянула его через голову и обернулась.

Врач смотрел на нее пристальным доброжелательным взглядом.

– Сколько? – с мягким нажимом переспросил он.

Зяма очнулась.

– Ой, извини! Сорок...

Так о возрасте: Зяма любила выбрасывать старые вещи. И не очень старые. И просто надоевшие. Выбрасывать, отдавать, убирать с глаз долой, расчищать пространство, выметать мусор, освобождать площадку. Чувствовала при этом взрыв радостного обновления жизни, возобновления действия – итак, продолжаем! в следующей главе нашего рассказа...

Она выбрасывала все. Если летела набойка на каблуке, Зяма с облегчением выбрасывала туфли. Не говоря уже о дырочках на носках, о треснувшей по пройме рубашке...

Так она выбросила первого мужа, заметив, что ее любовь к нему совершенно износилась и нуждается в основательной штопке...

Было в этом высвобождении из старой шелушащейся кожи прошлых обстоятельств, связей и вещей некое тайное чувство, которое ужасало ее: когда умирал старый больной человек, Зяма испытывала такое же – о, ужасное, постыдное, безнравственное! – чувство разумности и естественности освобождения пространства, обновления жизни: итак, продолжаем! в следующей главе нашего рассказа...

С некоторых пор Зяма приглядывалась к своему отражению в зеркале.

Собственно, ее худошавое, с корректными чертами лицо не менялось: счастливая суховатая порода, дедова закваска, крепкие ноские гены – жизнь тут ни при чем. Так, лишь обозначилась вертикальная морщинка между бровями и округлилась линия подбородка. Естественные возрастные изменения. Но она вглядывалась в себя деловито-хозяйским холодным глазом, словно прикидывала – не пора ли выбросить эту пообносившуюся физиономию?

* * *

Автобус номер 405, следующий по маршруту Иерусалим – Тель-Авив, осаждали ребята из бригады «Голани», и она удивилась тому, что среди бойцов этой прославленной бригады довольно много невысоких щуплых мальчиков с торчащими кадыками. Открыв все багажные отсеки автобуса, они забрасывали внутрь тугие тяжеленные баулы. Несколько штатских смиренно перебирали ногами в общей очереди.

Позади Зямы курили двое в форме летных частей.

– Они займут весь автобус, эти «Голани», – неодобрительно заметил один из летчиков. – Такие наглые!

Второй, рядом с ним, был русским. Этнически русским: пшеничная круглая голова, белесые короткие ресницы – ну просто механизатор совхоза «Красная заря» где-нибудь под Черниговом. Он докурил, отщелкнул окурочек и проговорил с досадой, почти без акцента:

– Опять опоздаем...

Господи, все перевернулось, подумала она, все смешалось, лопнуло, потекло, растеклось по землям.

...Она сразу и без усилия вобрала в себя и эту страну, и население, поначалу изумившее ее горластостью и простотой. А ведь мы, выходит, – народ восточный, открыла она с необычным для нее, глубинным смирением. Приняла это, как впервые вбираешь потрясенным взглядом лицо своего ребенка, поднесенного к твоей груди на первое кормление. В ее памяти всплыли подзабытые словечки и присказки деда: он говорил «мейлэ», когда имел в виду «ладно», вздыхал часто: «Хоб рахмонэс»¹ и имя Иерусалим произносил как «Ершолойм».

Еще она вспомнила, что по субботам он почему-то носил в доме туркменскую тюбетейку и сам был ужасно похож на старого туркмена, со своими «мейлэ» и «хоб рахмонэс». Все было правильно: мозаичный узор судьбы подбирался по камушку, складывался медленно и старательно. И – поняла она – удивительно верно. В первые же дни она ощутила себя камушком, точно вставленным в изгиб узора огромного мозаичного панно, кусочком смальты, которые подбирает рука Того, кто задумал весь узор.

Ах, пошел бы Зяме Париж! Или Кельн, или Ганновер. Легкой утренней пробежкой в светлом плаще, переулком-ущельем между зданий готической архитектуры... Да делать-то нечего. Нечего делать, господа: лицо своему ребенку не переродишь...

Но за это смиренное приятие была она вознаграждена сразу и с лихвой: стала встречать на улицах, в магазинах, в транспорте своих умерших родственников. Так вдруг разительно больно совпадали в чужом человеке тип лица, и походка, и манера совать под мышку свернутую в трубочку газету – вылитый дядя Исаак, только чуть больше лысина на затылке, так ведь сколько лет после его смерти прошло.

А сколько раз она уже натыкалась на деда! Дважды бежала следом, чтобы еще раз в лицо заглянуть (хотя осознала, конечно, что выглядит странно). И радостное вздрагивание души, захлестнутое дыхание, спазм в горле, слезы на глазах – были ей такой наградой за все безумие отъезда.

¹ *Хоб рахмонэс* – будь милостив (*идши*).

...В автобусе она села позади водителя – марокканского еврея, сработанного из цельной глыбы. Так работают скульпторы, обобщая детали: круглая голова – литая шея – мощно отлитые плечи, огромные ладони, слитые с баранкой. И даже складки на мягкой фланелевой рубашке с откинутым на спину капюшоном казались слитными со всеми его скупыми движениями и сделанными из того же материала, например из терракоты.

Челночными осторожными ходками двухэтажный автобус выбрался с площади перед центральной автостанцией и узким подъемом, то и дело застревая в потоке истерично гудящих легковушек, – круто влево и круто вправо – наконец выровнялся на шоссе номер один.

Слева и сзади высоко завис Иерусалим, а справа внизу кругами разошелся белый, в голубовато-молочной пенке облачков, приперченный красной черепицей Рамот.

Этот выезд, этот первый поворот на шоссе, этот вылет в простор Божьей сцены всегда напоминал ей те первые мгновения, когда самолет уже оторвался от земли и набирает высоту, и бегут внизу и косо вбок веселые лоскуты луговой зеленой замши и черно-зеленая щетинка лесов.

Постоянное и всегда смешливое изумление вызывала в ней кукольная отсюда башенка мавзолея над могилой пророка Самуила. Так ладно, уместно, нарочито театрально венчал этот мавзолей один из дальних круглых холмов. А однажды, пасмурным утром, она видела прожекторно-желтый луч, настырный, как указующий перст. Он упирался в башенку мавзолея, прорвав стеганное дождем тяжелое небо. На этой земле, под этим небом, с театральными эффектами, легко было трепетать перед Всевышним...

Рядом с ней сел солдатик из «Голани», винтовку поставил меж колен, дулом вверх. Она взглянула мельком – кустистые черные брови над горбатым носом, суровое горское лицо. В проходе, прямо на своем бауле, сидела девочка в форме танковых частей.

Почему ему не приходит в голову уступить девочке место, с досадой подумала Зяма. Ну да, они – солдаты, оба солдаты.

Они не галантны, подумала она со вздохом. Нет, не галантны...

В эту минуту раздалось тошнотворно знакомое позвякивание меди в пустой жестянке из-под «колы». Так и есть. И опять она не заметила, как проскользнул, как ввинтился, как просочился этот тип в автобус.

Равномерное позвякивание приближалось, вот уже на ступеньках лестницы со второго этажа показались грязные босые ноги в коротких чужих брюках с незастегнутой, как обычно, шириной, затем – вышитая жилетка на голое тело – вогнутая волосатая грудь с розовым серпообразным шрамом под сердцем – и, наконец, тревожно улыбающаяся, безумная физиономия иранского еврея лет сорока.

Мустафа, будьте любезны.

Он спустился по лесенке и, потряхивая банкой, крикнул:

– Мустафа шатается!

Пассажиры, страдальчески морщась и вздыхая, отвернулись к окнам или уткнулись в газеты.

Он побежал по автобусу, натываясь на солдатские баулы, погремливая жестянкой и распространяя вокруг сложный запах пота, пива, мочи и дезодоранта. Добежав до водителя, громыхнул медью над его ухом и объявил опять тревожно и внятно:

– Мустафа шатается!

Здоровяк за рулем сказал, не повернув головы:

– Высажу!

И эта короткая угроза произвела на безумного голодранца действие не только умиротворяющее, но даже успокаивающее. Он сел на ступеньку, заулыбался и запел, ритмично встряхивая баночку.

«Вот, вот идет Машиах...» – пел он, и мимо уносились крутые склоны лесистого ущелья Иерусалимского коридора.

Мустафа жил в автобусах номер 405, следующих по маршруту Иерусалим – Тель-Авив. Водители пускали его без билета, потому что Мустафа не занимал места. Он бегал по автобусу, снедаемый страшной, неутихаемой тревогой. Если он особенно сильно оживлялся, топал и нестерпимо громко пел о Машиахе, беспокоя пассажиров, следовало только пригрозить ему высадкой на шоссе. Он мгновенно стихал, присаживался на ступеньки и тихо напевал или дремал.

Приехав в Тель-Авив, он минут сорок шатался по улочкам старой автобусной станции, где хозяева лавочек, жестоковыйные и милосердные восточные евреи, подкармливали его, одевали и издевались над ним. Они его орошали дезодорантом, омерзительно-парфюмерный запах которого Мустафа ненавидел. Он чихал от него и кашлял. Вероятно, это была аллергия.

– Вот, вот идет Машиах! – кричали они, смеясь. – Эй, Мустафа, подойди, я дам тебе питу.

И когда несчастный безумец опасливо приближался, робко и хищно выхватывая питу из руки мизраха², тот успевал прыснуть на бродягу пахучей струей из баллончика. Мустафа визжал, плакал, кашлял и чихал. И убегал к огромному зданию новой автобусной станции, чтобы, незаметно проникнув в салон четырехста пятого автобуса, бегать по нему взад-вперед, вверх и вниз до самого Иерусалима.

...Автобус уже спустился с гор и катил распахнутой долиной Аялона. Солдатик рядом с Зямой беззащитно и самозабвенно спал, клоня голову на ее плечо. Его пухлые губы и во сне сложены были в непреклонную, упрямую гримасу. И девочка на бауле спала, опустив голову на скрещенные руки. Ветер из окна поддувал тончайшие спиральки волос на ее подростковой шее.

Их перебрасывают к ливанской границе, вдруг поняла Зяма, связав утренние плохие новости, и этих ребят из бригады «Голани», и двух летчиков, которые сейчас сидели где-то на втором этаже. Мысленно она говорила уже не «Ливан», а как местные жители – «Леванон».

...Автобус подъезжал к Тель-Авиву, вот уже показались на равнине контуры могучего холма – городской помойки, в просторечье – Тель-Хара. Переводилось это романтическое благозвучное имя как Холм Дерьма, или, если так удобнее, – Дерьмовый Курган. Всякий день очертания его вершины менялись: то с одного боку насыплет мусоровоз горку, то с другого. То вздымался посередине гребень, то словно двугорбый верблюд остановился на равнине. Чайки дружными серебристыми стаями, издалека – под лучами солнца – похожие на блестящих рыбок в аквариуме, носились над величественным Тель-Харой. По гребню его ползали грузовики-мусоровозы.

Иногда Зяма представляла, что если заснять на пленку изменения рельефа этой горы, а потом прокрутить пленку в страшном темпе, то Дерьмовый Курган шевелился бы, ворочался и волновался, как гигантское ископаемое на равнине...

Мустафа вскочил и побежал к лестнице на второй этаж – там будет греметь баночкой и, тревожно улыбаясь, всматриваться в окна. Что за мятущаяся тоска гнала его из города в город, с гор на побережье и с берега моря – в горы? В этом двойном вращении его тоски, одновременно – внутри автобуса и меж городами, – она усматривала сходство со своей тоской, мятущейся внутри страны и – вместе со всем народом – внутри Вселенной.

На спине водителя валялся мятый фланелевый капюшон. Зяма представила, как в дождь, выбегая из автобуса в диспетчерскую, он набрасывает его на голову – детский капюшон на этой полуседой курчавой голове марокканского быка. А на ногах у него должны быть старые кроссовки...

² *Мизрах* – презрительная кличка восточного еврея.

Вот что пугало ее: домашность всей этой страны и ее населения.

Все ее жители относились к стране как к своей квартире и так одевались, и так жили, не снимая домашних тапочек, и так передвигались по ней, и так ссорились, – незаметно, небрежно и смертно привязаны к домашним, – совершенно не вынося друг друга, и взрываясь, когда чужой посмеет плохо отозваться о ком-то из родни... Они так и убегали из нее, как сбегают из дома – до конца дней не в силах окончательно вырвать его из себя.

Автобус вырулил на мост Ла Гардиа и остановился. Здесь всегда выходили солдаты. И ее мимолетный сосед, суровый горский мальчик, и девочка, всю дорогу проспавшая в немыслимой позе на своем вещмешке, и двое летчиков, и шустрые наглые «Голани» вытаскивали баулы из багажника.

Зяма смотрела в окно на русского. Ему очень шла форма летных частей, вообще он был крупный, хорошо сложенный, скованный и неяркий человек – среди этих черноглазых, развинченных в движениях уроженцев Средиземноморского побережья.

Ну что ж, подумала она, мы ведь тоже повоевали за их землю. И ужаснулась – за чью за «их»? Все смешалось, все перевернулось, Господи...

Наконец причалили к перрону шестого этажа новой автостанции. Водитель потянулся, заломив руки над головой, крикнул и стал ждать, когда пассажиры выйдут.

Мустафа уже выскользнул и пошел нырять в разбегающуюся по эскалаторам толпе.

Зяма вышла последней. Она всегда выходила последней и всегда говорила водителю «спасибо». Для нее это была примета, условие удачного дня, талисман.

Выходя, она скосила взгляд вниз, на его ноги. Да: старые кроссовки без шнурков... Нас всех когда-нибудь тут перебьют, в который раз подумала она в бессильной ярости, – в этой открытой всем ветрам трехкомнатной стране, в этих наших домашних тапочках...

2

Вот многие считают: рухнула империя, поэтому и повалили, покатались, посыпались из нее потроха – людское месиво.

Распространенное заблуждение – подмена следствием причины.

А может, для того и полетели подпорки у очередной великой империи, чтобы пригнать Божье стадо на этот клочок извечного его пастбища согласно не сегодня – ох, не сегодня! – составленному плану? Еврейский Бог – не барабашка: читайте Пророков. Медленно и внимательно читайте Пророков...

С чем сравнить этот вал? С селевыми потоками, несущими гигантские валуны, смывающими пласты почвы с деревьями и домами?

Или с неким космическим взрывом, в результате которого, клубясь и булькая в кипящей плазме, зарождается новая Вселенная?

Или просто – неудержимо пошла порода, в которой и самородки попадались, да и немало?

Как бы то ни было, все это обрушилось на небольшой, но крепкий клочок земли, грохнулось об него с невероятным шумом и треском; кто расшибся вдребезги, кого – рикошетом – отбросило за океан. Большинство же было таких, кто, почесывая ушибы и синяки, похныкал, потоптался, расселся потихоньку, огляделся... Да и зажил себе, курилка...

* * *

ДЦРД – Духовный Центр Русской Диаспоры – посещали люди не только духовные. Завхоз Шура, к примеру, утверждал, что не было в Духовном Центре такой вещи, которую не сперли бы многократно.

Каждые три дня крали дверной крючок в туалете. Крючок. При этом оставляя на косяке железную скобу, на которую этот крючок накидывается.

Примерно раз в пять дней выкручивали лампочку над лестницей, ведущей на второй этаж. Это можно было осуществить только с риском для жизни, сильно перегнувшись через перила второго этажа и чтобы кто-нибудь держал за ноги, иначе можно разбиться к лебедям. (Тут необходимо добавить, что в супермаркете лампочка стоит два шекеля восемьдесят агорот.)

Существование бара в одном из закутков ДЦРД расцвету духовности тоже не способствовало. И хотя содержала его милая женщина с усталой, извиняющейся за все улыбкой – бывшая пианистка из Тбилиси и, дай бог не соврать, чуть ли не лауреат какого-то конкурса, – именно ее земляки, с особой охотой посещавшие бар Духовного Центра, придавали этому заведению необратимо закусочно-грузинский оттенок. Среди всех выделялся некто Буйвол – чудовищной массой, волосатостью и грубостью. Он заказывал обычно лобио, хачапури и сациви, поглощая все это в неопрятном одиночестве, чавкая, сопя и закатывая глаза в пароксизме гастрономического наслаждения. Окликнет его кто-нибудь в шутку:

– Буйвол, ты что – похудел?

Он испуганно воскликнет:

– Ты что, не дай бог!

По средам вечером гуляли тут журналисты, коллектив ведущей русской газеты «Регион», – отмечали завершение и отправку в типографию очередного еженедельного выпуска. А были среди журналистов «Региона» люди блестящие – умницы, эрудиты, отчаянные пройдохи и храбрецы, в советском прошлом – все сплошь сидельцы: кто за права человека, кто за угон самолета, кто за свободу вероисповеданий.

Был в Духовном Центре и зал со сценой, добротный зал мест на четыреста, и косяком пер сюда гастролер, неудержимо, как рыба на нерест.

Известные, малоизвестные, не столь известные, а также знаменитые российские актеры и эстрадные певцы, барды, тещы и мимы, оптом и в розницу, то сбиваясь в стаи, то оставляя поделников далеко позади, безусловно, поддерживали высокий накал духовности русской диаспоры.

Извоз российских гастролеров держали почему-то украинские евреи. Может быть, поэтому анонсы предстоящих гастролей, напечатанные в русских газетах, шибали в нос некоторой фамильярностью. Рекламные объявления обычно не редактировались, так что даже в культурном и грамотном «Регионе» можно было наткнуться на зазывы: «Такое вам не снилось!» Или: «Впервые в вашей жизни – в сопровождении канкана!»

Сценарий проката джентльменов в поисках десятки был всегда одинаков. Первым у приехавшей знаменитости брал интервью журналист газеты «Регион», известный местный культуролог Лева Бронштейн – безумно образованный молодой интеллигент, знающий невероятное количество иностранных слов. Он выстраивал их в предложение затейливой цепочкой, словно крестиком узоры на пальцах вышивал.

Смысл фразы читатель терял уже где-то на третьем деепричастном обороте. Читая Бронштейна, человек пугался, расстраивался: был трагический случай, когда к концу пятого абзаца одной его статьи читатель забыл буквы русского алфавита.

Статьи Левы Бронштейна от начала до конца читали, кроме него, еще два человека: его подвижница-жена и профессор культурологии кафедры славистики Йельского университета Дитрих фон дер Люссе – тот был искренне уверен, что Лева пишет свои статьи на одном из восьми известных профессору иностранных языков.

Русская израильская интеллигенция страшно почитала культуролога Бронштейна, его имя вызывало священный трепет, и хотя дальше заголовка, как правило, никто продвинуться не мог, считалось некрасивым на это намекать. По сути дела Лева был божьим человеком, кое-кто даже полагал, что в свое время он будет взят живым на небо.

Приезжая знаменитость вещала в его интервью длинными сложными построениями о самых разнообразных материях: о трансцендентности начал, о детриболизированности сущностных величин, открывала горизонт специфически национального потребления, а следовательно, этнической метафизики, задавала основные параметры мыслеформы и под конец интервью восклицала что-нибудь эдакое, абсолютно загадочное, парализующее зрительный нерв рядового читателя: «Нет терроризма педантичнее, чем этот, до костей обглоданный риторикой!»

Затем, засучив рукава, за приезжего певца (актера, барда, поэта, мима) брались журналисты остальных двенадцати русских газет.

Эти интервью читать было легко и привычно: как-то внезапно позабыв о высоких сферах и обглоданной риторике, знаменитость жаловалась на трудное российское житье, дороговизну рынка, возросшую преступность и духовное оскудение российского общества.

И наконец, обалдевшая от напора массмедиа и потерявшая бдительность знаменитость попадала в лапы Фредди Затирухина – главного редактора, ответсекретаря, репортера, корректора, а также курьера, вышибалы и поломойки паршивой порнографической газетенки «Интрига».

Фредди овладевал знаменитостью обманом и чуть ли не силой: он являлся в отель выбритым и дезодорированным и, открыв роскошный дипломатический кейс, доставал оттуда дорогой японский диктофон...

Рекомендовался он, как правило, президентом. Это принято: президент компании такой-то. У него и на визитке было написано золотом: «Фредди Затирухин. Президент».

Так вот, наутро в свежем номере «Интриги» появлялось разухабистое, с обилием неприличных слов, безграмотных выражений и непристойных откровений интервью, где знаменитость делилась с читателем этого малопочтенного издания некоторыми подробностями своей личной жизни. Ребята из «Региона» божились, что в одном таком интервью девять раз встречалось слово «хули»...

За всем этим – имеется в виду и последующая разборка пьяной знаменитости с пьяным президентом Затирухиным в баре ДЦРД, и приезд наряда полиции с дальнейшим поручительством за всех и вся дирекции Духовного Центра, – за всем этим следовал триумфальный концерт во всем великолепии, во всей мощи духовного накала благодарной, алкающей культуры публики русского Израиля...

Единственным, что неизменно омрачало светлый праздник Искусства, – было стремление российской знаменитости сказать в микрофон нечто поучительное по национальному вопросу. Поразительно, до чего жгла и мучала арабо-израильская проблема всех приезжих гастролеров. Сначала им намекали – легонько, перед концертом: не стоит, мол, лезть в чужую синагогу со своим протухшим интернационализмом. Нет, не действовало! Обязательно скажет, да еще так задушевно, – а как же, мол, дорогие бывшие соотечественники, некрасиво получается у вас с арабским родственным народом?..

Ну, понятно, крепче уже стали предупреждать: не учи, сука, ученых и бывалых... Куда там! Уже всю чёсовую программу напоет-набормочет, уже весь цветами засыпан, глядь – под конец, под бурные аплодисменты – пук!!! Такие вот ослиные уши царя Мидаса; такое вот не могу молчать.

А самая знаменитая Знаменитость, та вообще развела полными руками да и ляпнула от полноты сердца:

– Евреи и арабы! Да помиритеесь вы, черти! Чего не поделили-то?!

(Представители арабского народа в тот день – как и в остальные, впрочем, – в зале напрочь отсутствовали. Надо полагать, по причине вечернего намаза).

А между тем не далее как утром ведущий русский экскурсовод Израиля Агриппа Соколов ударно проволоч Знаменитость сразу по трем маршрутам:

1. Храм Гроба Господня – величайшая святыня христиан;
2. Западная Стена Храма – величайшая святыня иудеев;
3. Мечеть Омара – величайшая святыня мусульман.

Если пояснить (для неместных), что все три святыни громоздятся чуть ли не друг на друге, можно было бы догадаться, что не поделили три эти великие конфессии – всего-навсего Бога.

Кстати, об экскурсиях. В подвальных помещениях Духовного Центра, в нескольких крошечных выгородках размещалось экскурсионное бюро «Тропой Завета». Основал и возглавил его великий Агриппа Соколов (в местных условиях ударение в этой хорошей русской фамилии валится почему-то на первый слог).

Но тут необходимо сделать небольшое – о, совсем мимолетное! – отступление.

Индустрия... экскурсоведения? экскурсовождения? – словом, технология замучивания зайца-туриста, медленного поджаривания его на хамсинном пекле в долинке Геенны Огненной – за годы Большой алии приобрела невероятный размах.

Турист на Святую землю шел разнообразный и отовсюду. Не говоря уже о рядовых гражданах России и ее бывших республик, о любознательной русской мафии, о бизнесменах всех сортов и мастей, о подданных священниках в сопровождении небольшой веселой паствы, оголтелого русского туриста поставляли и Америка, и Канада, и Германия, и ЮАР, и даже Новая Зеландия, тоже сколотившая за последние пару лет русскую общину не хуже, чем у людей.

Все это туристское стадо, в зависимости от интересов и вероисповедания, надо было грамотно рассортировать и удовлетворить. Обслужить по высшему разряду.

В области религиозных чувств, как известно, требуется деликатность особого свойства. И тут сотрудники экскурсионного бюро «Тропой Завета» проявляли себя подлинными виртуозами своего дела. Скажем, ведете вы группу православных христиан из города Переславля-Залесского. Смело объявляйте название экскурсии – «Тропой Нового Завета». Но упаси вас бог маршрут, по которому вы повели стайку религиозных евреев из Каменец-Подольского общества «Возвращение к корням», назвать «Тропой Ветхого Завета».

В том-то и фокус.

Вот вам невдомек, а евреи свой Завет отнюдь не считают ветхим и непригодным к использованию. Наоборот – по их мнению, он отлично сохранился в течение всех этих хлопотных тысячелетий, а за последние лет пятьдесят так прямо засиял, как новенький, и подтверждает это на данном, нарезанном самим Всевышним дачном участке земли существование еврейского, вполне половозрелого государства... Словом, тончайшая, деликатнейшая материя, лезгинка на острие кинжала, балансирование с шестом на канате, фокус с удавом на шее, раздувающим кольца...

Легче и приятнее всего было вести группу, сколоченную из ядерного бывшесоветского среднетехнического атеиста. Эти не знали ничего, путали Иисуса Христа с Саваофом, деву Марию с Марией Магдалиной, задавали кромешные вопросы, крестились на Стену Плача и оставались довольны любыми ответами экскурсовода.

Стоит ли удивляться, что, завершив трудовую неделю и вешая в преддверии шабата³ увесистый замок на дверь конторы, ведущие экскурсоводы Иерусалима – охальники, насмешники и циники – на традиционное субботнее приветствие «Шабат шалом!» ответствовали бодро: «Воистину шалом!»...

³ *Шабат* – суббота, святой день у иудеев.

3

Поднимаясь в лифте, Зяма достала из сумки ключи от двери офиса.

Даже здесь, на стенке кабины лифта, было наклеено объявление миссионеров новой секты, распространителей загадочного продукта «Группенкайф».

Все эти объявления-призывы носили истошный характер, словно призывали к насильственному захвату каких-то жизненно важных государственных ценностей. Правда, ни в одном из объявлений не уточнялось – каких именно, и это смущало и сбивало с толку: так, будто ночью тебя разбудили безумным воплем «горим!!!», а где и кто горит, куда бежать, кого спасти – упорно не сообщают.

Почти все объявления начинались призывом: «До каких пор?!» Или: «Сколько можно?!» – а дальше уже все зависело от изобретательности и авантюрных наклонностей миссионеров-распространителей. Вот несколько образчиков таких объявлений.

«До каких пор хозяева будут издеваться над олим⁴, наживаясь на нашем тяжком труде?! Всем, кому надоело хрячить на израильтян, мы предлагаем участие в новом перспективном бизнесе. Здоровье! Высокие заработки! Расслабление и хорошее настроение!!!»

«Сколько можно прозябать в нищете и унижаться?! Мы готовы указать вам путь к настоящему богатству! Вы будете иметь деньги и высокую потенцию, отличные успехи в бизнесе и чувство удовлетворения жизнью!»

Или просто:

«Сколько можно?! К нам и только к нам! Перспективная фирма! Высокие заработки! Железное здоровье! Бездна свободного времени!!!»

Витя был уже на работе. Он стоял, навалившись круглым животом на световой стол, и старательно сопя, вырезал ножницами из журнала «Ле иша» непристойную карикатуру на премьер-министра. Увидев Зяму, просиял всей своей лохматой физиономией старого барсука и проговорил нежно:

– Зямочка, какого хера ты приперлась ни свет ни заря?!

Их ждал обычный тяжелый день: тридцать две еженедельные газетные полосы, которые они делали вдвоем, плечом к плечу перед компьютером, вот уже пятый год...

Редакция их газеты (или, как оба они гордо говорили – «офис») обреталась в шестнадцатиметровой комнате, снятой на одной из самых грязных улочек, в самом дешевом районе южного Тель-Авива.

Это обшарпанное трехэтажное здание в стиле баухаус, выстроенное в конце тридцатых, предназначалось для сдачи внаем всевозможным конторам, мастерским и мелким предприятиям, если, конечно, можно назвать предприятием престижный салон «Белые ноги», занимавший весь третий этаж. Кстати, отнюдь не все сотрудницы этого заведения могли предоставить клиенту обещанный в меню деликатес, а именно – белые ноги. Среди обслуживающего персонала трое были – маленькие тайландки, глянцевого, как желтые целлулоидные куклы, две – горластые, чернявые и горбоносые дщери то ли иранского, то ли марокканского происхождения, а еще – Света и Рита, славные девушки из Минска на сезонных заработках.

На двери редакции висела табличка с текстом, набранным Витей на «Макинтоше» скромным, но респектабельным шрифтом «Мария»:

«ПОЛДЕНЬ» —

⁴ Олим – новые репатрианты (букв. «поднявшиеся») (*иврит*).

литературно-публицистический еженедельник.

Прием авторов по воскресеньям и средам.

Посторонних просим не беспокоить.

Посторонние беспокоили их гораздо чаще, чем авторы. Уж очень злчное это место – мусорные обветшалые улочки в районе старой автостанции. Забрехали к ним агенты по распространению неповторимых диет, нищие, дешевые бездомные проститутки, принимающие клиентов в подворотнях и за гаражами, одурелые свежие репатрианты, пришибленные всей этой ни на что не похожей жизнью, заблудившиеся клиенты престижного салона «Белые ноги», ну и психи с разнообразными маниями.

Несколько раз являлись Мессии.

Двое из них были в образе авторов и даже с рукописями в папках, а один – всклокоченный, с блуждающим темным взором, рванул дверь и рыдающим голосом спрашивал – не пробегала ли здесь молодая ослица, не знающая седла. И повторял жалобно: «Белая такая, беленькая, славная...»

Витя уверял, что если пристально смотреть сумасшедшим промеж глаз, чуть выше переносицы, то они сразу теряют энергетику и быстро уходят.

Были, были замки, была решетка от пола до потолка, отделяющая вход в коридор второго этажа от лестничной площадки с лифтом; вешался на нее громоздкий амбарный замок, с которым Витя мучился, как проклятый, каждое утро – отпирая, и каждый вечер – запирая. Но днем-то решетка была отперта. Сновали туда-сюда служащие, клиенты, уборщики – на втором этаже размещались офисы пяти компаний.

А вот верстать газету Витя предпочитал ночью. Он вешал замок на решетку, запирали изнутри дверь редакции, раздевался до трусов и садился за компьютер. Под столом держал Витя тазик с водой – в нем он полоскал и нежил натруженные ноги, обутые в пляжные пластиковые сандалики, купленные на рынке Кармель за пятнадцать шекелей. Витя трепетно относился к своим мозолям...

Стоял у них старенький холодильник «Саратов», приобретенный по случаю распродажи имущества одного разорившегося борделя, была и духовка, подаренная соседом-болгаринном, притащил Витя из дома ручную соковыжималку. Всю ночь светился дисплей роскошного нового «Мака» – гордости, капитала, главного достояния редакции, красавца наипоследнейшей модели... – словом, это были лучшие часы в Витиной жизни. Вот если б еще туалет не в коридоре, а под боком – это ль было бы не счастье при Витином-то застарелом геморрое!

– ...Возьми в холодильнике апельсиновый сок, – сказал он, не оборачиваясь. Он сидел перед компьютером на доске, положенной на стул, так ему было удобнее. – Я еще ночью выжал.

– Спасибо, милый...

Она достала из холодильника литровую банку из-под соленых огурцов, – в нее Витя сливал выжатый сок. Зяма представила, как ночью – полуголый, в пляжных сандаликах, трясая толстыми волосатыми грудями, – он давит для нее апельсины на ручной соковыжималке. Какой он милый!

– Как ты себя чувствуешь? – спросила она, усаживаясь рядом с ним перед дисплеем.

– Не блестяще...

– Почему ты все-таки не обратишься в ту частную клинику? Они все время дают объявления, что излечивают геморрой без операции.

– А!.. – буркнул он, как обычно.

– Но показаться-то можно! – как обычно, раздражаясь, воскликнула она. – Тебе что – жалко показаться?

– Мне не жалко, – грустно ответил Витя. – Я готов показывать свою жопу каждому, кто готов в нее смотреть.

Витя был чудовищным хамом, хотя и нежнейшим, преданным человеком.

История начала их совместной работы в газете была настолько нелепа и удивительна, что до сих пор, почти пять лет спустя, они нет-нет да и поражались заново – как это получилось?

А получилось вот как: Зяма с семьей снимала тогда небольшую квартиру в Рамоте, одном из дорогих районов Иерусалима. Жила она в то время двойственной жизнью – утром убирала по найму квартиры состоятельных израильтян, а во второй половине дня ее часто приглашали участвовать в каких-то симпозиумах, «круглых столах» в университете и радиопередачах, которые вел авторитетный радиожурналист Сема Бампер.

В то время бурно обсуждался вопрос взаимодействия двух культур – русской и израильской. Причем представители русской культуры воспринимали данный вопрос чрезвычайно серьезно и говорили о взаимодействии с горячностью и преданностью необыкновенной, в отличие от израильтян, которые уже не раз что-то такое обсуждали и, подобно Синеи Бороде, знали, что в потайной комнате взаимодействий уже заморены голодом несколько разных культур.

Зяма тогда начала догадываться не только о существовании подобного тайного склепа – она поняла, что в нем хватит места для новых и новых жен Синеи Бороды. В то время истеблишмент еще заигрывал с «русской» интеллигенцией, еще трепал ее по щечке, хотя запуганная телефонными и муниципальными счетами интеллигенция уже всюду шуровала шваброй, где только могла. И Зяма шуровала. Муж ее еще не сдал непереносимый экзамен на подтверждение медицинского диплома. Они не то что голодали, нет, конечно, но – боялись голодать.

Вот в эти-то дни в их съемной квартире раздался телефонный звонок.

Незнакомый голос, одновременно грубоватый и неуверенный, осведомился: не она ли выступала вчера в радиопередаче на темы культуры? Услышав, что – да-да, она, неизвестный спросил:

– Вы какую консерваторию кончали?

Надеясь, что речь идет о каком-то заработке музыкального рода, Зяма подробно и подобоострастно поведала свою рабочую биографию. В трубке вздохнули.

– А я – скрипач, три курса Вильнюсской консерватории. Потом бросил и много лет работал настройщиком фортепиано. Вы не представляете, как мне страшно...

И запинаясь в тех местах рассказа, где, видимо, ему хотелось выругаться, неизвестный рассказал некую идиотскую историю, которая с ним приключилась... Он настройщик, как уже было сказано выше, причем настройщик хороший. Приехав, дал объявление в газету «Новости страны», и – не фонтан, конечно, – но кое-какой заработок имеется. Вот так на днях звонят по объявлению и предлагают настроить и отремонтировать старый «Блютнер»... Он приходит, проверяет инструмент, вынимает механику и начинает работать. А хозяин – верткий старикашка, польский еврей, тридцать лет как из Варшавы, – вьется вокруг и затевает всякие разговоры. Ну, вы знаете их штучки: «сколько времени ты в Стране» да «как тебе в Израиле живется» – и прочая (тут голос запнулся)...

– Херня, – подсказала Зяма.

– Да! – обрадовался он. – Меня, кстати, Витей зовут.

– А меня – Зямой, – сказала Зяма. – Очень приятно.

– Дальше, – продолжал Витя, – разговор с хозяином рояля повернулся самым удивительным образом. Я, конечно, дал волю языку и сказал все, что думаю об этом обществе и об этом государстве... Знаете, я ведь приехал сюда обалделым сионистом: «Если забуду тебя, Иерусалим!..» Впрочем, это не важно. Говорю вам – это был припадок красноречия у волка, которому прищемили капканом яйца. Так вот, этот старикан... между прочим, он балакает по-русски. Конечно, ублюдочный русский, но... Ах, говорит, как красиво вы говорите, – они же эпитет «красивый» употребляют во всех смыслах: «красивый обед», «красивая книга»... Да, говорит, как красиво вы говорите, и как убедительно! И о культуре – верно, верно, многое очень верно... Кстати, о культуре. Я, говорит, главный редактор газеты «Новости страны», Залман Штыкерголд, будем знакомы. В настоящее время, говорит, назрела необходимость в издании литера-

турно-публицистического приложения к нашей газете. Это будет первое в истории русской прессы Израиля пятничное приложение. Вы ведь пишете? – спрашивает. И с такой радостной надеждой на меня смотрит. И я, дурак, сказал, что пишу. Более того – что работал в газете.

– Зачем? – спросила Зяма.

Витя замялся...

– Понимаете, – объяснил он, – вообще-то я и правда пишу немного, и печатался в «Вечернем Вильнюсе», и... публиковал музыкальные рецензии... Дело не в этом... В общем, можете себе представить, хотя это, конечно, трудно вообразить... впрочем, это вполне в духе всей здешней жизни – чтобы главный редактор газеты думал не головой, а (тут он опять запнулся)...

– ...жопой, – подсказала Зяма.

– Да! – воскликнул Витя благодарно. – Словом, можете вообразить: господин Штыкгерголд предложил мне делать литературное приложение к своей газете.

– Как же это? – удивилась Зяма. – Как вы намерены это делать?

– Вот, – сказал Витя расстроено, – в том-то и дело. Я же сказал вам, что мне страшно... Он дает некий бюджет (скупердяй чудовищный! Ну, вы знаете этих паршивых «поляков», хуже которых только «румыны») – тысяч двадцать – двадцать две в месяц. На эти деньги я должен содержать помещение, купить оборудование, платить гонорары, нанять еще одного сотрудника, потому что один не справлюсь. Пока он хочет шестнадцать полос, а потом будет тридцать две.

– Обдираловка, – сказала Зяма.

– Конечно! А кто, кроме меня, согласился бы на это? Я вас послушал в передаче, вы так здорово, мне кажется, все расставили по местам, всем надавали по морде. Правильно: хватит перед ними заискивать. Абсолютная духовная независимость – вот залог сохранения нашей культуры... Дай, думаю, позвоню – может, вы когда-нибудь занимались газетой?

– Да нет, – вздохнула она, – я музыковед. Составляла и редактировала несколько сборников статей. Но ведь газета – это нечто противоположное.

– Умоляю! – торопливо проговорил Витя. – Не бросайте меня! Я очень боюсь. Я нанимаю вас на должность редактора.

– У меня, знаете ли, был дед, – сказала Зяма, – который говорил в таких случаях: «Не ищи себе сраку на драку». Хотя сам-то всю жизнь искал. И находил.

– Но я же мечтал об этом всю жизнь! – воскликнул он. – И признайтесь, неужели вам не хочется попробовать? А вдруг мы сможем делать настоящую, хорошую литературную газету? Только не говорите «нет»! Две тысячи в месяц вас устроят?

– Еще бы! – сказала Зяма.

* * *

В первые месяцы, когда они и сами еще не верили, что делают настоящую газету, Витя продолжал иногда настраивать инструменты. Официально давать объявления в своей газете, которую они называли «Полдень», он права не имел, это было одним из идиотских условий Штыкгерголда. Поэтому объявления о настройке фортепиано они камуфлировали в передовых статьях, которые Штыкгерголд обычно не мог осилить. Делалось это так:

«С наступлением эры детанта и попыток Запада откупиться от красной угрозы путем уступок, террор палестинцев, обучаемых в Болгарии, ГДР и СССР, стали называть актами национально-освободительной борьбы. Так насаждается сумятица в головах обывателей и сумбур в мыслях журналистов.

И все это в то время как опытный настройщик фортепиано – стоит вам лишь позвонить по номеру 6832853, – с удовольствием и сравнительно недорого отрегулирует и отремонтирует механику вашего инструмента».

Или:

«Раскопки продолжаются, предполагается очистить от обломков и исследовать гробницы пятидесяти сыновей самого известного из фараонов – Рамзеса Второго. Надо полагать, с особым интересом за этими работами будут следить израильтяне. Ведь Рамзес Второй – тот самый «Паро», с которым вел беспощадную борьбу наш Учитель Моисей и которого евреи называют ничтожным, а мусульмане – Рамзесом Великим. Разгадка – в будущем. Ну а пока: опытный настройщик с удовольствием ответит вам по телефону 6832853 и произведет регулировку и ремонт механики вашего фортепиано».

Кому надо было, тот звонил. На случай, если ущучит что-либо старая сволочь Штыкгерголд, всегда можно было свалить на ошибку наборщицы.

– Ну-с? – спросил привычно Витя. – Кугель?

С Кугеля, как правило, начинали работу над очередным номером газеты, с утречка, пока свежи еще силы. Кугеля надо было переписывать от начала до конца, с заглавия статьи до многозначительного многоточия, которым тот усеивал последний абзац. На редактуру политической статьи Кугеля они ухлопывали часа три, потому что ежеминутно необходимо было заглядывать в справочники, словари и энциклопедии.

Кугель путал даты, ошибаясь на годы и даже десятилетия. Он путал географические названия, имена и должности государственных деятелей, к тому же нетвердо помнил – кто из них жив, а кто уже перекинулся.

Он знал шесть иностранных языков, и все плохо. Он изобретал новые идиотские факты, брал с потолка цитаты; создавал научные теории, от которых хватил бы удар любого десятиклассника; ссылался на законы, не существующие в юридической практике государства; приводил цифры экономических показателей, за которые следовало упечь его за решетку.

Он умудрялся печататься во всех русских изданиях, кроме ведущей газеты «Регион», куда и сам не совался.

В «Средиземноморское обозрение» давал короткие заметки на культурные темы под псевдонимом А. Герцен. В «Ближневосточье» однообразно высказывался на темы моральные, ругая аппетиты новых репатриантов и противопоставляя им страдания и самоотверженность прошлых волн Алии. Здесь он выступал под псевдонимом Шимон Бар-Иохай.

Сшибал копеечные гонорары по разным плевым изданиям, но особо активно сотрудничал с газетенкой «Интрига», где печатал бесконечные эротические романы под псевдонимом Князь Серебряный. (Зяма, если в руки ей случайно попадал номер «Интриги», плевалась и обзывала Кугеля «отцом сексуального сионизма»)

От его риторики тошнило.

От его патриотизма можно было стать завзятым антисемитом.

Надо ли было гнать Рудольфа Кугеля в шею?

Ни в коем случае.

Во-первых, он жил в Стране тридцать пять лет и помнил все политические скандалы, причины падения правительств и отставок государственных деятелей. Знал пикантные детали закулисных интриг в кнессете, где постоянно ошивался. Следил за прессой и телевидением на шести языках и обладал изумительным нюхом на жареное – еще до того, как первый язык скандала лизнет бок освежеванного политического барашка. Писал статьи он за считанные минуты, в порыве чистого вдохновения, и в воскресенье – а здесь оно называлось День первый и было началом рабочей недели, – дискета с набором свежей статьи на тему самого актуального события уже лежала в редакции. Были случаи, когда неторопливый литературный «Полдень» давал острую политическую статью еще до того, как собирал, анализировал и подготавливал материал к очередному своему глубокому и всестороннему обзору событий ведущий политолог «Региона» Перец Кравец. Словом, Кугель был решительно незаменим. Но главное не это. Переписывая очередную статью Кугеля, матерясь и изнывая, ругая автора старым мудилой, оба они

просто-напросто любили старика. Конечно, не за то, что пятнадцатилетним парнишкой Кугель был отправлен в Дахау, и не за то, что своим зычным голосом он охотно объяснял Вите и Зяме, как нужно укладывать трупы перед отправкой в печь: по двое, и двое поперек, и снова двое, – штабелями, как поленницу... Об этом он только рассказывал, макая печенье в чашку с горячим чаем (Витя с Зямой всегда угощали авторов чаем или кофе), – но никогда не писал. Эта тема была единственной, коей не касалось его вездесущее перо.

Так что они его просто любили.

Так что ни о каком «в шею» не могло быть и речи.

Так что нужно было только тщательно переписывать полемические излияния старика – от заглавия до последнего абзаца.

В «Полдне» он печатался под псевдонимом Себастьян Закс.

– ...Ну?

Когда они переписывали Кугеля, Зяма то и дело вскакивала и бегала по комнате. Витя набирал. Время от времени он предлагал свою версию той или иной фразы, тогда она думала и говорила: «Не годится!» или: «Умница!», и он энергично шлепал по клавиатуре.

– Ну, во-первых, как всегда, у старого идиота – отличный заголовок, – сказал Витя, – «Ложь, сладкая, как чесотка».

– М-м... О чем он там сегодня навалял?

– Ты ж знаешь – что вижу, о том пою. Нарушение правительством предвыборных обещаний, дискриминация новых репатриантов, скандал с биржевыми махинациями, мирный процесс...

– А! Ну, так и пиши – «Аспекты нового гуманизма».

Витя бодро, как щегол, защелкал по клавиатуре. Работа закипела, и уже часа через два оба они, взмыленные, как два битюга, подбирались к последнему абзацу, который выглядел следующим образом:

«Журналисты с неприкрытой жадной жаждой крови ждали пикантностей из зала суда. В это же время над свежей могилой горевал главнокомандующий и раздался залп почета. Привилегированные персоны, вкушающие министерские оклады, играют в руку премьер-министру. Но мало Фемиды с ее завязанными глазами! Дамоклов меч более чем подозрений навис над любителями биржи. Народ еврейский не дурак! Грядет народное разоблачение, и нас уже не заморочить внутривластной грызней: это борьба старого закостенелого иконостаза с молодой порослью из той же социал-сионистской голубятни!»

Несколько мгновений они сидели, уставясь в экран компьютера, соображая, каким образом перелицевать эту ветошь, пытаясь выловить хоть обломок мысли из этих сточных вод.

– Тяжелый случай, – наконец сказала Зяма. Они съели по яблоку, помолчали.

– А не выкинуть ли вообще на хрен этот абзац? – доверчиво спросил Витя.

– Умница!

Абзац с облегчением выкинули. Теперь необходим был заключительный аккорд для этой хлесткой, полемической, во многом разоблачительной статьи.

Зяма предложила «рыбу». Написали. Переделали. Добавили. Ужесточили. Хрястнули по левым. Еще хрястнули. Лягнули правительство – ему уже не больно...

Съели по второму яблоку и торжественно вслух перечитали концовку:

– «Историческая Партия Труда, многократно менявшая свои названия, была и остается партией большевистского типа, – читала Зяма не без удовлетворения. – Недаром политическим кумиром Бен-Гуриона был Ленин (хотя по многим вопросам Бен-Гурион занимал позицию, отличную от Ильича). Главное, что заимствовал Бен-Гурион у Ленина, – это учение об удержании власти. Почему коммунисты потеряли власть в СССР? Почему они фактически декоммунизировались в Китае? И наконец, почему они до сих пор правят в Израиле?»

Потому что здесь они сумели мимикрировать. Израильская разновидность коммунизма сумела осуществить мутацию единственно правильным путем – отказ от прямого насилия, выборы, якобы многопартийность. Затеянный ими «мирный процесс» не имеет ничего общего с миром, его цель – уничтожить политических противников Партии Труда, снести поселения, превратить десятки тысяч граждан в новых люмпенов, скомпрометировать их, вывести за пределы национального консенсуса. Так удерживают власть в своих мозолистых руках биржевики от коммунизма».

– Во дает Себастьян Закс! – воскликнул явно довольный собой Витя и азартно поскреб в серо-седой бороде.

После статьи Кугеля, как всегда, обедали. Витя побежал на угол за шаурмой, а Зяма пока вымыла и нарезала помидоры и огурцы и поставила тарелки. Это был их любимый час, на это время они даже дверь запирали. Обжора Витя приговаривал, поворачивая ключ в замке:

– Явится еще, не приведи бог, Машиах – куска проглотить не даст...

Они уселись за письменный стол друг напротив друга, высыпали из кульков на тарелки кусочки жареной индюшатины, и Витя вдруг, как фокусник, достал и открыл банку пива.

– Ух ты! – обрадовалась Зяма. Она любила пиво.

– Гуляй, рванина, – сказал Витя. – Тетке пенсия пришла...

Первые дни она брезговала этим вечно лохматым, хамоватым толстяком с крошками в бороде. К тому же Витя оказался не только ярым безбожником, но и страшным богохульником. Зяма же – так сложились обстоятельства – разделяла молочное и мясное.

Когда – месяца через два – она поняла, что, пожалуй, может с ним работать и, пожалуй, привыкнет к нему, она принесла из дома кое-какую посуду и сказала:

– Вот этот нож, с белой рукояткой, будет у нас молочным. Вот этот, с красной – мясным.

– Зяма, а не пошла бы ты! – от души удивился Витя.

Но она, подняв над головой оба ножа, повторила терпеливо и ровно, как учат умственно отсталых детей различать цвета на картинках:

– Белый – молочный, красный – мясной.

...Зяма двумя пальцами придвинула к себе свежий номер «Интриги», прихваченный Витей на углу: там всегда печаталось продолжение очередного эротического романа Князя Серебряного...

– Слушай, его абсолютно не правят, – пробормотала она, пробегая глазами по строчкам, – «...огромная белая грудь вывалилась из ее прозрачного пеньюара, – прочитала она брезгливым тоном, – я в жизни не видал такой груди!...»

– Он не видал, – продолжала она, раздражаясь, – в Дахау он такой груди не видал. В Дахау у женщин грудь сходила на нет... Интересно, а как относится к его художествам Ципи?

Жена Кугеля Ципи была женщиной строгой и тихой, хранительницей семейного очага.

– Ругается, – сказал Витя. Он с Кугелем знаком был давно, лет восемь. – Ругается, но как-то бессильно. Вот как подумаешь – зачем он балуется? Ведь ему, поди, уже и трахаться неинтересно.

– Ну как ты не понимаешь, – задумчиво проговорила Зяма, – он выжил. Его не уложили поперек чьих-то ног, и на него никого не положили, и не отправили в печь... Он выжил. И вот уже пятьдесят лет он кайфует. Просто радуется жизни. В частности, и таким образом...

После обеда, как обычно, их ждало еще одно удовольствие – полемическая статья Рона Каца на тему потерянных колен Израилевых.

Вот уже месяц этот безумный молодой ученый отбивался от журналиста газеты «Регион», историка Мишки Цукеса, вцепившегося в Рона Каца радостной бульдожьей хваткой.

Дело в том, что раз в несколько недель Рон Кац выдвигал новую научную теорию в области историко-этнических изысканий. Рон, безусловно, был сумасшедшим. Так считала Зяма. Но его статьи придавали газете известную пикантность, они вызывали ярость неподготовленного читателя, действовали на него как нервно-паралитический газ и носили – попеременно – то антисемитский, то русофобский характер. Поэтому статьи Рона они давали под знаком вопроса и мелким шрифтом приписывали внизу, что мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.

Двадцатисемилетний Рон Кац был гением.

Он получал гранты от пяти университетов мира. В частности, от Берлинского университета имени Гумбольдта – для работы над книгой, в которой убедительно доказывал интеллектуальную неполноценность арийской расы. Время от времени его приглашали на очередной престижный конгресс, и он читал доклад, написанный им на языке той страны, где конгресс проходил. Иногда из щегольства он прибегал даже к тому или иному диалекту.

Он знал тридцать два языка. В том числе, например, амхарский – язык эфиопских евреев. Он мог свободно с ними беседовать, после чего публиковал в «Полдне» развернутую, абсолютно скандальную статью об особенностях жизни эфиопской общины Израиля. Причем заканчивал ее предупредительным залпом: «Надеюсь, ни у кого не повернется язык обвинить в расизме человека, взявшего на себя труд выучить язык эфиопских евреев?!» При этом мало кто мог себе представить, что учил он этот язык дня три. Ну пять...

Он знал все диалекты арабского, мог по нескольким фразам отличить сирийского араба от иорданского, читал арабские газеты, выходящие в Восточном Иерусалиме, и время от времени радовал мирного читателя «Полдня» выжимками из этих газет, истекающих ненавистью к «сионистскому образованию» – арабы, как известно, избегают называть имя еврейского государства.

Он знал язык с неприличным названием «мандейский». «А кто на нем говорит?» – спросила его однажды Зяма, и Рон ответил кратко: «Мандеи», – после чего Зяма уже не задавала вопросов.

Время от времени Рон звонил к ней домой – посоветоваться о теме очередной статьи и вообще поболтать; обычно это случалось, когда Рону не спалось, часов в пять утра. Правда, он всегда при этом интересовался, не побеспокоил ли. До известной степени – при полном отсутствии общепринятых навыков поведения – Рон был довольно деликатным человеком.

– Я вот о чем подумал, – бодро говорил он, разбудив Зяму в пять часов двадцать минут утра. – Неплохо бы дать статью о том, что заговор сионских мудрецов существует в действительности.

– Рон, вы что – спятили?! – испуганно спрашивала Зяма, нашаривая кнопку ночника.

– Я берусь это доказать! – радостно выпаливал он. – Впрочем, не хотите – не надо. Можно и о другом. Я, например, располагаю доказательствами того, что абсолютно все русские государи были членами масонской ложи и тайно исповедовали иудаизм.

– Рон, подите на фиг...

– Как хотите... По крайней мере надеюсь, вы не струсите дать наконец исчерпывающую статью о том, что евреи расселялись по территории нынешней России гораздо раньше так называемого русского народа и говорили на одном из четырнадцати славянских языков до того, как на нем стали говорить славяне!

– Ну хорошо, – измученно соглашалась Зяма, – только, Рон, прошу вас – аргументированно!

Если еще добавить, что свои статьи Рон Кац почему-то подписывал псевдонимом Халил Фахрутдинов, можно себе представить, каким улюлюканьем встречали историки и журналисты «Региона» каждый его выход на страницы прессы, сколько писем приходило в редакцию газеты

«Полдень» от негодующих читателей и сколько шишек валилось на головы Зямы и Вити от главного редактора их газеты-мамы, господина Залмана Штыкгерголда.

– ...Ну вот, пожалуйста, – обескураженно проговорила Зяма, когда файл со статьей Каца открылся на экране компьютера, – «Киргизы – потерянное колено Израилево».

– Как! Ведь в прошлый раз он доказывал, что японцы – потерянные колена.

– Ну, видишь, он пишет – евреи прошли через Тянь-Шань, смешались с киргизскими племенами и вышли на территорию Японии... Представляешь, как сейчас на нас навалится Мишка Цукес!

– Пусть попробует! Мишке-то крыть нечем, он не знает древнекиргизского.

– Зато он историю знает.

– Но Кац же цитирует древнекиргизские «Хроники»: «И пришел на берег великого Иссык-Куля Иегуда с женами и рабынями, с множеством овец, и принес на берегу жертву Богу Ягве...»

– Да разве тогда киргизы были? – засомневалась Зяма.

– Что ж, «Хроники» были, а киргизов не было?

– Ну ладно, – сдалась Зяма. – Только, бога ради, ставь знак вопроса и эту приписку насчет «мнения не совпадают» дай более крупным шрифтом...

Часам к семи вечера наконец покончили с текстами. Сейчас Витя отвезет ее на своем апельсиновом «жигуле» к новой автостанции и вернется в редакцию – верстать всю ночь. Назавтра готовые полосы должны лежать на столе у господина Штыкгерголда.

– Ох, совсем забыл! Тебя разыскивает очередная старая перечница, – сказал Витя, переобувая пляжные сандалики на туфли. – Кажется, опять по поводу деда. Включи автоответчик...

Сердце у Зямы заволновалось в торжественном предчувствии.

Время от времени ее отыскивали старухи, еще живые дедовы пассии.

Они натыкались на ее фамилию, набранную мелким шрифтом внизу, на первой полосе газеты – редактор Зиновия такая-то.

Звонили. Страшно волнуясь, осторожно допытывались – имеет ли она отношение к Зиновию Соломоновичу такому-то. Ах, внучка?! Что вы говорите! Так бы хотелось взглянуть на вас одним глазком...

Она назначала встречу в кафе «На высотах Синая», угощала «угóй». Любопытно, что все старухи, не зная иврита, пирог тем не менее называли «угá». Вероятно, это слово в их склеротическом воображении ассоциировалось с русским словом «угощение».

Каждая рассказывала о деде что-нибудь новенькое, лихое, сногшибательное, часто – малопрстойное, а порой и ни в какие ворота не прущее... Слушая их, Зяма испытывала прямо-таки наслаждение, счастье, восторг.

Она включила автоответчик. После сигнала несколько мгновений покашливали, прочистили горло, вероятно, сплюнули в салфеточку и наконец, увязая языком во вставных челюстях, старческий голос аккуратно и торжественно произнес:

– Уважаемая госпожа редактор! Интересуюсь – или вы имеете отношение к Зиновию Соломоновичу, одной с вами фамилии. Если у вас будет желание поговорить с его старинной знакомой, то позвоните мне...

Дважды твердо диктует номер.

Ах ты, милая моя! «Уважаемая госпожа редактор!» Наверняка написала сначала на бумажке, тренировалась, выучила, зубы мешают...

Итак, очередная возлюбленная деда Зямы. Сколько ж тебе лет, возлюбленная? Ведь деду было бы... стоп! Деду, шутки шутками, было бы девяносто пять... Впрочем, он всегда любил юных. Код иерусалимский, значит – «На высотах Синая»...

Зяма набрала продиктованный старухой номер, и та сразу взяла трубку.

Да-да, она имеет отношение к Зиновию Соломоновичу, она его единственная внучка. (Хотела сказать «законная», но сдержалась.) Конечно, что ж мы по телефону-то! Рада буду встретиться с вами. Например, в кафе. Да вы знаете, это в центре – «На высотах Синая». Отлично... отлично... Ат-лич-на!.. Значит, завтра, в пять... А я – шатенка. Да вы меня опознаете: я очень похожа на деда.

– ...Ну и ходок был твой дедуля! – заметил Витя, заводя машину.

– Да! – с гордостью ответила Зяма. – Он не пропускал ни одной стоящей юбки!

Они медленно ехали по улицам Южного Тель-Авива. Всюду копали, прокладывали коммуникации, приходилось объезжать. Иногда минуты на три застревали в пробках.

На углу улицы Негев они медленно проехали мимо двух пожилых обрюзгших проституток с разрушенными лицами.

– Ветераны большого минета, – уважительно заметил Витя.

Подкатив к автостанции с улицы Левински – ко входу на четвертый этаж этого гигантского сооружения, – он привычно проговорил:

– Как подумаю – на какие рога ты едешь, живот сводит. Когда уже ты купишь нормальную квартиру в нормальном месте?

– Никогда, – тоже привычно ответила она, выбираясь из машины, – мне там нравится.

Она лгала. Ей совсем не нравилось то, как она живет последние четыре года...

4

«...Обнаженная писательница N. лежала в горячих струях воздуха, которые гнал на нее большой вентилятор...»

Омерзительно...

«Обнаженная писательница N. лежала под горячей струей воздуха от вращающегося вентилятора...»

Того хуже...

«Обнаженная писательница N...»

Да ну ее к черту – обнаженную! «Голая писательница N. лежала под вентилятором». Точка.

Так что голая писательница, и надо сказать – известная писательница, действительно лежала под вентилятором, который с японской вежливостью крутился, кланялся, усердствовал в максимальном режиме, но в этот чудовищный хамсин не спасал ни на копейку. А влетит в копеечку, вяло думала она, мало не покажется. Навязчивые мысли о счетах за все муниципальные блага этой паршивой цивилизации, приходящих с регулярностью месячных, в последнее время изрядно отравляли ей жизнь.

Детей, слава богу, дома не было. Старший сын, солдат, к облегчению всей семьи, был заперт на военной базе, где несчастные инструктора пытались обучить его вождению армейских грузовиков. Младший, первоклассник, – в школе. Не бог весть что за Царскосельский лицей, но забирают тщедушное сокровище от подъезда и возвращают к пяти в полной сохранности. Это ли не счастье...

По поводу счастья: надо бы спросить у Доктора, что стоит попить, когда жить не очень хочется. Пусть пропишет какой-нибудь *vaben* – говорят, успокаивает и мягко действует, без побочных эффектов, вроде чувства ватного обалдения во всех членах. Н-да-с, а затем на террасе у Сашки Рабиновича, попивая сухое и щелкая орешки в тесном кругу приятных людей, Доктор скажет, ласково жмурясь:

– А вот у меня была пациентка... – и водрузив загорелые ноги на ближайший пластиковый стул, перескажет – конечно же, в третьем лице и без имени собственного, он человек порядочный, – все ее излияния. Благодарю покорно...

Ведущий специалист по излечению депрессивных синдромов, Доктор, говорят, составил некую анкетку, вопросов сорок, не больше, – кроткие такие вопросы по части «не желаете ли повеситься?», и подсовывает ее для чистосердечных признаний близ живущему люду. Потом систематизирует ответы и пишет докторат на тему «Большая алия и суицидальный синдром». Или как-нибудь по-другому. Что ж, бог в помощь, материал вокруг богатый, каждый уж каким-нибудь комплексом да щегольнет.

Взять, к примеру, Севу. Необыкновенно удачливый бизнесмен, Сева расцвел свою жизнь своеобразным занятием: периодически кончает жизнь самоубийством. Неудачно. Не везет человеку: прыгнул с четвертого этажа – сломал ногу и ключицу, повесился – его вынули из петли. Уже на памяти писательницы N. он стрелялся. Пуля прошла в сантиметре от сердца, пробила легкие... Вылечили. В годы Большой алии затеял большой бизнес с Россией, невероятно преуспел, в связи с чем покончил жизнь самоубийством. Но опять неудачно: открыл газ и уже стал успешно угорать, как в колонке этот самый газ и кончился. Похоже, на небесах не горят желанием встретиться с этим мудаком.

Сейчас он процветает. Живет там – здесь – там. Часто наезжает прикупить еще какой-нибудь автомобиль или квартирку, или ломтик промзоны где-нибудь на территориях для строительства небольшого заводика. Свечного. Нет, кроме шуток, – свечного. Возжигание суббот-

них свечей – не последнее дело на этой земле. Но никак, бедняга, не может выкарабкаться из депрессий. Поздравил его с покупкой виллы, а он отвечает злорадно:

– Все равно все сохнем!

Конечно, сохнем, дорогой. Но к чему полномочия-то превышать? К чему суетиться, начальству дорогу забегать, в глаза ему заглядывать? Когда о нас вспомнят, тогда на доклад-то и вызовут. И вломят, можешь не сомневаться, ох как вломят!

Так что – нет, дорогие друзья и благодарные читатели, – никаких анкеток. Я совершенно нормальна, уравновешена и хорошо воспитана.

На пороге появился муж и, увидев изможденную жарой голую супругу, изобразил на лице оторопь человека, открывшего служебную дверь и за нею заставшего...

– Вах! Какой сюрприз!

В нем погибает неплохой комедийный актер. Какой там «вах!» – и он еле ползает от жары. Да еще на ногах, бедняга, целый день за мольбертом.

И это чугунное оцепенение тела, вязкость мыслей и полное отсутствие каких-либо желаний он называет жизнью на Святой земле.

Ну, положим, этот банный кошмар длится не 365 дней в году. А зимний многодневный проливень – не хотите ли, – под которым протекают все без исключения крыши всех строений – от паршивого курятника где-нибудь на задворках Петах-Тиквы до небоскреба отеля «Холлидей ин». Выскакиваешь из подъезда, заворачиваешь за угол, вбегаешь под стеклянный навес остановки – и ты уже насквозь пропитан холодной тяжелой водой, вымочен, как белье в тазу. Тропическая лавина, водопад, под которым смешна и бесполезна обычная осенняя одежда – эти жалкие плащи, дождевые куртки с капюшонами, резиновые сапоги... И хочется либо залезть в скафандр водолаза, либо уж раздеться догола и слиться с водами мирового потопа от неба до земли... Недаром это слово в древнееврейском существует только во множественном числе – воды, воды... «Объяли меня воды до души моей...»

Но и дождь, и душу вышибающий ветер, выламывающий ребра зонтов, выдувающий тепло даже изо рта и слезящихся глаз, вспоминаются сейчас как спасение.

Голая писательница N. тяжело поднялась, села, пережидая, пока пройдут головокружение и колющая в левом виске, возникшие от перемены положения тела, наконец поднялась и на ватных ногах потащила под душ.

Ну что это, ну как этот ад называется на человеческом языке – перепады давления? магнитные бури? сужение сосудов? приближение смерти? старость, наконец? дряблая рыхлая старость в сорок лет?! Господи, когда начнется похолодание! Черт с ней – старостью и смертью, смерть по крайней мере избавит от натирающего горб ярма – ежеутреннего, едва сознание нащупывает тропинки в пробуждающемся мозгу, почти мышечного уже сигнала: работать. Встать, принять душ, вылакать свой кофе и сесть за работу – инстинкт, условный рефлекс, привычка цирковой лошади, бегающей по кругу под щелканье бича... Хорошие стихи попались когда-то в юности в куцей книжице молоденькой (забыла, конечно, имя) поэтессы: «А мы сидим в затылочек друг другу, И не понятно – что это такое... А эта лошадь бежит по кругу, Покинув состояние покоя...»

Голая писательница N. печаталась давно, с пятнадцати лет, так сложились обстоятельства. Кстати, для своей первой полудетской публикации в популярном (и тиражном – о, никому из нынешних издателей и не снился размах бывшего советского Вавилона – трехмиллионный тираж!) московском журнале она прислала свою пляжную фотографию: подросток, костлявая дурочка – полоска лифчика, полоска трусов, размер сатинового купальника, помнится, тридцать шестой, «детскомировский». Разумеется, на фотографии она отрезала и в журнал прислала только голову с плечами, якобы вырез такой у сарафана.

К ее изумлению, рассказик был напечатан в пристойном школьном воротничке. То есть к ее детской шейке пририсовали школьный воротничок. Так что голая писательница N. с отрочества узнала некую истину: голых писателей не бывает. Живых, по крайней мере. Их заголяют после смерти, вытряхивая из фиговых листочков писем и дневников. (Истеричные эксгибиционисты, трясущие перед читателем неопрятными гениталиями, конечно, в счет не идут, оставим творческие оргии содомян ведомству наивысшей инстанции.)

А хрен вам, подумала она, стоя под вялым душем и тяжело поворачиваясь, ни единого интимного письма, ни записочки вы от меня не унаследуете...

Дневников она не писала даже в доверчивой эгоцентричной юности. Что за разговоры с собой? Что за договоры с самим собой, что за условия самому себе, что за бред? Нормальный человек сам с собой не беседует.

Она была абсолютно нормальным человеком. В общепринятом смысле, конечно. Как говорит Доктор – ну что вы заладили, батенька, – сумасшедший он, сумасшедший... Может, он и сумасшедший, но ведь мыла-то не ест? Мыла она не ела. Но втайне за любым писателем, и за собой в том числе, оставляла право на некоторые – не извращения, зачем же, и не отклонения, а, скажем так, – изыски психики.

Да взять хоть вчера.

На террасе у Сашки Рабиновича они, как обычно, наслаждались вечерним ветерком из Иерусалима, расслабленно перебрасываясь замечаниями и лузгая тыквенные семечки, которыми торгует рыжая сушеная Яффа в своем паршивом минимаркете. Сангвиник Рабинович вернулся на днях из Праги, где пытался наладить какой-то очередной утопический бизнес.

– Нам всем надо скорей перебираться в Прагу, – говорил он, бодро лузгая семечки. – И язык родственный. «Жопа» по-чешски будет «сруля», так что база языка уже есть...

Доктор вяло возразил, что, насколько ему известно (у него был чех-пациент), «жопа» по-чешски будет не «сруля», а вовсе «пэрделэ», на что Сашка ответил, что так еще выразительней и лучше запоминается.

– А вот у меня есть пациент, – вступил своей неутомимой валторной Доктор, – так он создает сейчас альтернативную Русскую партию. И знаете – каков основной пункт предвыборной программы?

– Отнять земли у кибуцев и раздать новым репатриантам, – предположил Сашка.

– Если бы! Основной пункт – освобождение Израиля от коренных израильтян.

Все дружно ахнули, посмаковали, полюбовались этой изумительной идеей.

– Да-да, у него все записано. Точно не помню, но смысл таков: только эта Великая алия, в основе своей антиизраильская, которая в гробу видела это идиотское государство со всеми его идеалами, только она способна вытащить страну на новые рубежи. Это ее последняя надежда. Все предыдущие волны репатриантов не стоили ничего, и ничего не добились только по одной причине – они не стали в конфронтацию к обществу и государству.

– И что ты ему прописал? – спросила писательница N.

Тут появилась Ангел-Рая с очередной сушеной воблой. Ангел-Раю всегда сопровождает по жизни стайка сушеных вобл. И тут вот такая Любочка Михална, так ее и называла своим жалобным колокольчиковым голоском Ангел-Рая.

Под Любочку Михалну предупредительный Сашка немедленно подставил стул. И сначала все подумали, что вечер испорчен. Такая себе педагог с тридцатипятилетним стажем, разговаривает директивным тоном классного руководителя. И вот этим тоном она и говорит – мой внук, говорит, один из самых знаменитых сутенеров Голливуда. Профессия, как вы сами понимаете, не для слабонервных!

И все они: и Сашка, и Доктор, и остальные – восторженно с бабкой согласились, а Доктор еще и подмигнул – мол, а старушонка-то в порядке! Спустя минуту выясняется, что старая корова имела в виду профессию каскадера. И вот – от чего зависит настроение писателя: услы-

шала от карги о сутенере-каскадере, записала украдкой в блокнотик – и весь вечер пребывала в дивном настроении.

... Она завернула краны, вылезла из ванны и прямо на мокрое тело набросила длинную и широкую майку старшего сына. Вымахал бугай под два метра, а как был очагом землетрясения в семье, так оно и по сей день. Впрочем, курс молодого бойца – первые несколько месяцев в армии – он прошел благополучно, без истерик и взбрыков, обычно сопровождавших любое его действие. Уверял даже, что он – лучший ночной стрелок в роте.

– Что значит – ночной стрелок? – насмешливо спросила мать (это было месяца через два, как сын ушел в армию, она уже попривыкла и спала без снотворного). – Есть такая опера – «Вольный стрелок», есть, опять же, такое удобство – ночной горшок. Но смешивать два этих ремесла...

Впрочем, ему не привыкать к ее насмешкам.

Из школы его попросили месяца за три перед получением аттестата. Он, как выяснилось, полюбил прогулки по Иерусалиму (занятие, спору нет, познавательное). Выходил из дома в семь утра – как бы в школу, возвращался в четыре – как бы из школы.

Вскрылось все в свое время. Звонок учительницы: почему Шмуэль (она говорила «Шмулик»), все они здесь шмулики, шлемики, дудики, мотэки. Хотя, как это ни смешно, старшего сына в семье с детства звали именно Шмуликом, он был назван Семеном в честь покойного прадеда Самуила. По приезде сюда домашняя кличка мальчика естественным и гордым образом перевоплотилась в имя, и не в худшее имя великого пророка Шмуэля), – почему Шмулик уже два месяца не ходит в школу?

Как не ходит?! Что, где?! Ах, ох!! Да нет, конечно, никаких «ах» и «ох» не прозвучало – она старый боец, закаленный в передрягах, которые всегда в изобилии ей подсудобит этот мальчик. Она выслушала учительницу, роняя только – да, нет, да-да, вот как... с силой гоняя желваки, как поршни, словно хотела искрошить зубы в порошок.

К экзаменам на аттестат он, конечно, допущен не будет, добавила учительница, ну ничего, он сможет подучиться в армии и там же сдать эти предметы. Ты же знаешь, мотэк, – у нас человека не бросят.

Да, конечно, сказала она, я знаю...

Так передай привет Шмулику, удачи ему.

Обязательно передам, пообещала она.

Бить его она уже не могла. Во-первых, не было сил, во-вторых, она уже не доставала до его физиономии – он высокий красивый мальчик. В-третьих, в последнее время он научился держать оборону, выставляя острый железобетонный локоть, о который она безуспешно и очень больно колотилась, ну, и так далее.

Проблему избияния малолетних обсуждать не будем.

Каждый со своей бедой справляется по-своему...

... Да, а вчерашнюю-то воблу, Любочку Михалну, Ангел-Рая притащила, оказывается, не просто так, а знакомиться с писательницей Н. Любочка Михална, как выяснилось, – как же, как же, – читала, и даже вырезала много лет (!) публикации ее рассказов и повестей. Даже сюда привезла. Собрание сочинений Лескова, поверите ли, оставила там, а вашу тоненькую книжку, такую синенькую, привезла. (Лучше бы все-таки ты Лескова привезла, старая идиотка.)

Синенькая тонкая книжка, состоящая из розовых соплей придурковатого отрочества, вышла чуть ли не в 74-м году. Когда писательнице Н. о ней напоминали, ее трясло от злобы.

– Ну никогда бы не подумала, что вы такая еще молодая и такая хорошенькая!

– Она у нас пусечка! – встряла Ангел-Рая. Подожди, душа моя, скоро тебе пусечка в копеечку покажется.

– Я ж вас читаю чуть ли не тридцать лет! – Старушка зашлась. Надо остановить эту торжественную надгробную речь.

– Просто я печаталась с младшей группы детского сада, – объяснила она сухо.

– Но какая удача, что мы разговорились о вас с Раечкой. Она ведь моя ученица, знаете. Она настоящий ангел! И вдруг я узнаю, что вы здесь живете! Как – прямо здесь?! Я даже ахнула и не поверила!

– Ну почему же, – вежливо удивилась писательница N., – ведь где-то ж я должна жить.

– А я говорю: веди меня, Раюша, у меня есть для нее сюжет.

Та-ак... начинается...

– Очень интересно, – проговорила писательница N.

И за это выслушала миллион восемьсот тысяч двести пятьдесят третью историю о расстрелянной гитлеровцами сестре Фирочке, упавшей в яму и засыпанной землей. На рассвете ее – по шевелящейся глине – откопал какой-то белорусский крестьянин и укрывал в хлеву со свиньями до конца оккупации. Сейчас сестра в Бостоне, у нее, слава богу, большое ателье мод. Вот как раз она-то – родная бабушка того суте... каскадера.

Все правильно, Любочка Михална, советский педагог. Потому он и каскадер, что бабушку его пятилетнюю во рву расстреляли. Потому и все мы тут – каскадеры. И государство это – вечный каскадер. Только вот от кина подташнивает...

Между прочим, выслушивая историю о расстрелянной Фирочке, писательница N. в темноте прослезилась настоящими слезами.

Проклятое профессиональное воображение: мгновенная, натренированная годами и уже бесконтрольная мощь творческой эрекции, воссоздание яркой, и даже более яркой иной реальности с запахами, мимикой лиц, суетней жестов, безнадежными старческими хрипами, ощущением скользкой, холодной весенней глины, кишашей дождевыми червями... И маленькая девочка, оглушенная залпом, – нет, это ее пятилетний сын, оглохнув, раскрыв рот, валится навзничь в сырую, воняющую известью яму... Боже, боже! Как страшно жить...

Ее саму всегда поражал этот феномен. Ее одинокий злой ум, ее вьедливый глаз, ее прикус вампира и волчий азарт преследования дичи существовали в таких случаях отдельно, а вот эти бабьи слезы, которые, сглатывая, она проталкивала в горло, – отдельно. И это было всегда, и в тысяча восемьсот седьмой раз было бы то же самое, и она знала, что против расстрелянной немцами пятилетней Фирочки она просто бессильна...

Слушая историю, все на террасе умолкли. Доктор погрузился и кивал головой, а Сашка сказал – вы бы написали об этом в Ядва-Шем.

– Этот уникальный сюжет, – старуха преданно уставилась на писательницу N., – я должна была подарить только вам!

– Я вам страшно благодарна, – сказала та проникновенно. Нет, не буду я писать о Фирочке. И не только потому, что никогда не пишу о том, чего не знает собственная шкура. Но и потому, что не пользуюсь дареным. Я пользуюсь только награбленным. Я, дорогие мои, – бандит с большой дороги. И самое страшное, что я абсолютно в этом бескорытна.

– Мась, по-моему, ты должна написать про это роман, – сказала Ангел-Рая. Вот одарил же Господь таким голосом: переливы арфы, музыка небесных сфер. – Ведь правда, мась?

– Конечно, Раюсик, – ласково ответила писательница N. Вот о тебе я напишу, мой ангел!

...Из ванной писательница N. прошлепала босиком в кухню, приняла третью за утро таблетку от головной боли и, протерев тряпкой клеенку на столе, раскрыла толстую, в клетку, еще советскую общую тетрадь – 96 листов, цена 44 копейки. Она никогда не начинала новой вещи ни на машинке, ни – сейчас уже – на компьютере: свято верила, что правая – несущая

– рука должна бежать или тащиться по клеткам страницы в одной упряжке с бегущей или тянущейся мыслью.

Месяца три уже она думала о новом романе, в котором собиралась – конечно, под вымышленными именами, конечно, не буквально, конечно, в иной, более острой и гротескной плоскости – изобразить некую клубящуюся вокруг странную реальность.

Вот что было главным компонентом в этом диком бульоне, что придавало ему вкус неповторимый, подобный вкусу того сказочного супа, в который волшебница добавляла заколдованную травку: нестерпимость вечного ожидания... Возьми любого, на кого упадет взгляд, – все напряженно ждут чего-то. Причем каждый своего: кто-то ждет результата очередной биржевой операции, кто-то всю жизнь с ужасом ждет банкротства, кто-то в тихой упорной уверенности ждет, что его выгонят с работы, кто-то ждет кардинального поворота дел. Левые ждут, что оправдаются и принесут мир тяжелые территориальные, моральные и национальные потери, которые несут евреи в ходе переговоров с арабами. Правые ждут падения левого правительства. Поселенцы предрекают и ждут неизбежную войну. Ну а весь народ, по своему обыкновению, ждет Мессию.

Персонажей вокруг вертелось навалом, хоть поварешкой черпай. Не было только героя. Или героини. Она приглядывалась к Ангел-Рае... Пока же записывала коротенькие мысли, наметки, обрывки сюжета, кусочки диалогов... Некую зыбкую массу, питательный бульон. Завязывалось. Она чувствовала, что завязывается, и боялась спугнуть...

Она поднялась, прошлась по кухне, подошла к окну.

Вниз под горку уходили черепичные крыши русского квартала «Маханэ руси», что переводилось как «Русский стан». Маханэ ты моя, Маханэ, оттого, что я с Севера, что ли...

Любопытная публика населяла этот квартал. Все эти университетские супермены-интеллектуалы когда-то в семидесятых ринулись в иудаизм, подгоняемые своими русскими женами. Нельзя не отметить, что одной из важнейших к тому мотивировок была: «А кому бы здесь рожу начистить?» Некоторые даже успели отсидеть чуток по этому поводу. Потом Союз пошел трещать, гулять и ходуном ходить, и сионистов отпустили восвояси, что было не так уж и глупо: из корзины воздушного шара, со страшным свистом выпускающего воздух, первым делом выбрасывают балласт.

Любопытнейшая публика. Возьмем Ури: русский человек, причем из лучших, породистых представителей нации. По слухам (а может, это и анекдот), проходил гиюр несколько раз. Говорят, всякий новый раввин, взглянув на него, понимал, что этот гой хочет любыми путями вырваться в Канаду, и заявлял, что не признает предыдущего гиюра. Последний раз Ури прошел гиюр у ультраортодоксального раввина в Меа-Шеарим. Это все равно что креститься у папы римского. Зато уж после этого «досы»⁵ приняли Ури в свои объятия. Что да, то да. Что есть, то есть: у евреев не принято напоминать человеку, что когда-то он был неевреем. Считается, что у всякого в прошлом могут быть те или иные неловкости и не очень красивые обстоятельства...

Второй с краю виднелась крыша Сашкиного коттеджа, за ним – докторский, пятый с конца – коттедж Ангел-Раи.

Ангел-Рая...

Вот, извольте, жила-была девочка... по ее собственному уверению – рядовой библиотекаршей районной московской библиотеки – кажется, Краснопресненской. (Известная писательница Н. в свое время выступала в библиотеках по линии Бюро пропаганды писателей. В Краснопресненской тоже, было дело, выступала. Ангел-Раю... нет, не помнила.)

Могло ли быть такое, чтобы сирая библиотечная пташка, книжная краснопресненская моль обернулась здесь всеблагодатной Жар-Птицей, семикрылым серафимом, являющимся на всех,

⁵ «Досы» – презрительная кличка ультраортодоксов.

без исключения, перепутьях, перед всеми, без исключения, томимыми жаждой? Вряд ли... Тогда откуда она, с вашего позволения, взялась – Ангел-Рая?

Нет, существовал и общепризнанный апокриф: в дирекцию Духовного Центра Русской Диаспоры лет шесть назад – в самом начале Большой алии – явилась обаятельная молодая женщина и предложила основать библиотечку для новых репатриантов (маленькую, скромную, по запросам пенсионеров, чуть ли не переносную аптечку). Знаете, много пенсионеров приехало, жаль старичков – им уже не войти, не влиться в общество, что ж им – помирать раньше времени?

Словом, такая вот благотворительная манная кашка.

Дирекция – а это были два добрых молодца, Митя и Мотя, получающие добрые оклады и на ниве своей культурной деятельности желающие только одного: ничего, – вяло любопытствовала: зачем еще это?

– Как зачем? – светло удивилась лунолика. – Чтобы людям было куда прийти.

Митя и Мотя, ослепительные мудозвоны, вообще-то считали, что людям и без того есть куда прийти – ведь бар Духовного Центра работал с утра и до поздней ночи. Они помялись, переглянулись...

Цельми днями они сидели в обклеенной афишами продымленной комнатке под лестницей, курили, трепались по казенному телефону и спокойно ждали, когда явится очередной извозчик с очередной знаменитостью в пролетке и снимет зал по семьсот шекелей за вечер.

Ясный взор молодой культурницы обещал им беспросветные и бесконечные хлопоты, а возможно, и дальнюю дорогу (как оно впоследствии и оказалось), но обаяние ее улыбки было не обычного, а какого-то радиоактивного свойства. И, превозмогая себя, чуть ли не в корчах, чуть ли не предощущая свою кончину, они выделили для новорожденной библиотечки закуток, комнатку метров в двенадцать. А чё – пусть старперы радуются, в самом деле.

– Но никаких субсидий на приобретение фондов не ждите, – предупредили строго Мотя и Митя.

– Я свои книжки принесу, – успокоила их она, – у меня есть, двести пятьдесят штук.

И те успокоились, дурачье...

Уже через какое-то плевое количество дней выяснилось, что к этой молодой женщине (этому ангелу, существу ангелу, всех обнимающему своими светлыми крылами), как муравьи к начавшему строиться муравейнику, потянулись самые разные люди. Старички, привезенные на Святую землю в молочном возрасте – отпрыски купеческих, адвокатских и врачебных еврейских семейств Москвы и Петрограда, – перед лицом грядущей кончины принялись наперегонки дарить новорожденной Русской Библиотеке Иерусалима, – да нет, не библиотеке, а ей, Ангелу нашему, – сотни уникальных изданий, вывезенных из России в начале века.

Народная тропа весьма скоро была основательно утоптана, обрела тенденцию к разрастанию в широкий тракт, в скоростное шоссе, во взлетную полосу.

И Ангел-Рая взлетела...

Вскоре Библиотека насчитывала три тысячи томов, открылся отдел редкой книги, букинистический отдел. Ангел-Рая незаметно вытянула из широких штанин «Кворума» три или четыре библиотечарские ставки, благоустроила на них каких-то своих неимущих девочек-одиночек.

Заколосилась читательская нива, организовались какие-то творческие встречи кого-то с кем-то... Очнулись от обморока эмиграции старые профессора, филологи, теоретики литературы и искусства, музыковеды, востоковеды, лингвисты, специалисты по истории Древнего мира и Средних веков, и невозможно перечислить – по чему еще! Образовался целый корпус профессуры. И каждый желал лекции читать, хоть за бесплатно... На, читай, дорогой!

Ангел-Рая ликовала, звонила каждому, приглашала на все новые и новые сходки, диспуты, лекции, концерты... Заглядывала всем в глаза и спрашивала доверчиво: «А правда, здорово, мать?»

Возникли кружки – вот как почки лопаются на деревьях, процесс неудержимый: в одно прекрасное утро проклевывается листочек... Дети ведь должны рисовать, это полезно, это развивает видение мира... Разве мы допустим, чтобы наши дети... Да, ну и хор, конечно, нет у нас непоющих детей...

Так что срочно требовались помещения.

Как это делается – известно: Большое Ходатайство припадающей к стопам Власти русской общины за несколькими сотнями подписей. «Развитие и сохранение культуры страны исхода... духовные запросы... интенсивная интеллектуальная жизнь... высокий культурно-образовательный потенциал Большой русской алии...»

(Называется здесь это деловито-слезное прошение почему-то «проектом». Это удобно: такой невинный проект под условным названием «Как зарезать и освежевать двух идиотов, которые сами себе могилу выкопали»)

Власти (родимый «Кворум», матка боска, развесистые титьки) пораскинули, прикинули и решили – а что б не дать? Составлено красиво...

По истечении весьма небольшого срока два хладных трупа, выброшенные бушующими волнами океана общественной жизни на поверхность вод, плавали с окоченевшими от оторопи физиономиями, уже не привязанные, как и подобает покойникам, ни к культуре, ни к окладам, ни к каким бы то ни было духовным центрам. Кажется, один из мудозвонов – то ли Митя, то ли Мотя – занялся распространением нового уникального препарата «Группенкайф», второй открыл кабак для русских паломников – «Гречневая каша». Собирался, по слухам, и впрямь кормить паломников гречневой кашей (интересно, за кого он их принимал?). Но прогорел. Неважно. Дальше...

А дальше все интереснее и интереснее. Многие прихожане-обожатели полагали, что Ангел-Рая-то сейчас по праву и возглавит Духовный Центр. Глупые, вы бы ей еще прачечной командовать предложили. Центр возглавил какой-то мальчик (Левинька? Гришенька? Володечка?), их много у нее по карманам было распихано, и жизнь в Духовном Центре пошла широкая, вольная и чрезвычайно интенсивная.

Ну а она, Ангел-то наш, основатель культурной диаспоры, глава и источник, – она-то что?

Она улыбалась и стеснительно говорила, рассыпала горстями ксилофонные звоночки своего небесного голоса: «А что – я? Я – простой библиотекарь...»

Потом вся эта кипящая каша созрела, разбухла и полезла, как из кастрюли, из узкого и тесного здания Духовного Центра, расползлась по разным уголкам города, освоила залы, зальчики, подвалы и клубные помещения... Ангел-Рая брала все, что предлагали, ни от чего не отказывалась – там две комнатки на чердаке, там – закуток в бомбоубежище... все хорошо, все кстати. Здесь мы организуем детскую студию художественной лепки, а там – лекции по икебанае. Для пенсионеров. Это успокаивает – икебана лучше, чем вязание.

И все это возглавляется какими-то, из-под полы ее юбки, из-за пазухи, из рукава выглядывающими вдохновенными подвижниками, согласными работать за три копейки, а то и за теплое спасибо. Однако все знают, что эти подставные директора-подвижники – дело десятое. Все знают, кому в случае чего звонить, кого просить и кто поможет – она, она, светлейшая!

Вот так, между прочим, создаются империи... А вы как полагали?

Ну а что касаясь представительства, то все залетевшие сюда сдуру, по неопытности, от усталости или по старости известные люди, конечно же, ею пронумерованы и прижаты к груди. Приколоты к нежному бюсту, как блестящие брошки. Все присутствуют на торжественных открытиях, закрытиях, учреждениях, присвоениях...

Она всех собою обволакивает. Да и прикиньте – сколько их здесь, знаменитостей? Раз, два и обчелся, товар штучный. Хотя, с другой стороны, ситуация проживания в крошечном замкнутом обществе чревата обветшанием имиджа. Пропадает куда-то у восторженных масс пиетет, дистанция. Большое, как известно, видится на расстоянии, а расстояния-то здесь кот наплакал, из конца в конец страны на автобусе пять-то часиков. Поневоле большое раздражает, загромождает, хочется его отодвинуть, задвинуть в угол, наконец, отдать кому-нибудь, сирийцам, что ли...

Иногда вот задумаешься и даже испугаешься: а чего ж она, Ангел-Рая, в конце концов, хочет? Ну не миром же, в самом деле, править? Хотя еще пару-тройку таких вот ангелов... и чем вам не заговор сионских мудрецов? Кроме шуток. Зайдешь к ней по соседству – она, лапонька, сидит на краешке дивана, в халатике, старательно красит перед зеркалом ресницы и светло так говорит: «А у нас вчера было открытие «Клуба любителей оперы». Правда, здорово, мать? – Снимет мизинцем с ресницы излишек туши и добавит: – Я люблю, когда всем хорошо... Главное, чтоб людям было куда прийти».

Загадка. Вот как хотите – загадка!

Писательница N. выпила воды из крана – о, какая мерзкая вода в этой земле, текущей молоком и медом! – раскрыла тетрадь и написала: «Ангел-Рая. Крошка недюжинного, государственного ума. Женщина-учреждение. Канает под кошечку. Ходит, вертит задом – настоящим задом старинной ручной работы. Сейчас таких не делают. Сейчас редко встретишь женщину со столь добротным обоснованием всего сущего на земле... Вообще – Ангел с нежнейшим голосом. Любит быть в курсе не то что всех событий и веяний, но стоять у истоков, зачинать, держать в руках нити, поворачивать штурвал, греть под крылом, высиживать, сладко интриговать, нежно, не больно убивать соперника, да и не убивать вовсе (что это я!), а растворять в некоем вязком сиропе, тихо помешивая ложкой варево, напевая при этом колыбельную песнь. Обладает способностью возникать одновременно в нескольких местах».

Зазвонил телефон. Опять она забыла отключить это проклятье цивилизации! Ну, подойти или не подходить?

Она пропустила звонка два-три, надеясь, что муж сжалится над ней, подойдет к телефону и защитит, отгонит, как комара-кровососа, очередного знакомого-приятеля-автора-старушку.

Конечно, не подошел, эгоист несчастный.

Телефон звонил. Она притащилась в комнату и сняла трубку.

– Мамка! Только не перебивай и не пугайся! – торопливо и жалко, и как-то сдавленно проговорил ей в ухо, и, как ей показалось, прямо в больной мозг голос старшего сына. Она рухнула в кресло рядом с телефонной тумбочкой.

– Где ты?! – спросила она.

– Только не кричи... я сбежал из армии... Все, надоело! Я... я не хочу... эти проклятые грузовики... я не могу... я ему сказал, что...

– Свола-а-ачь!! – заорала она страшным утробным ревом. Так она не кричала даже тогда, когда рожала этого крупного и по сей день бессмысленного ребенка. – И-ди-о-от!!! Говнюк паршивый!

Грохнув мольбертом, выскочил из мастерской муж, обхватил ее трясущиеся плечи, сжал. Он сразу все понял, чего уж. Сын был такой. Сюрпризник.

– Тебя посадят в тюрьму, паскуда, дерьмо собачье!!! – орала она иступленно.

– Мамка, спаси меня... – плачущим голосом проговорил он.

Сердце ее оборвалось.

– Где ты?

– Здесь, рядом с воротами базы. Я сказал, что выйду за сигаретами.

Ну, не болван? Она физически ощутила, как разжались, распустились сведенные в судороге внутренности.

– Сынок! – проговорила она негромким командным голосом. Руки ее тряслись. – Успокойся и немедленно вернись на базу... Я выезжаю сию минуту. Я все улажу... Не бойся! Все будет хорошо...

Потом она металась по дому в поисках чистой блузки и немятой юбки, и муж, чувствуя себя бесполезным (он плохо говорил на иврите, и к тому же должен был встретить из школы младшего), виновато помогал ей застегнуть тесный лифчик.

Потом она умылась, припудрила истерзанное лицо, выпила еще одну таблетку от мигрени и, прихватив сумочку, выбежала из подъезда в адово пекло, жарь и муть, безвоздушное пространство хамсина.

Муж глядел из окна, как она шла через дорогу к остановке автобуса. Ей предстоял долгий и кошмарный путь – с несколькими пересадками и ловлей попуток под солнцем, на грохочущем грузовиками перекрестке – на военную базу, куда-то под Ашкелон.

Писательнице N. – и надо сказать, известной писательнице – предстояли сегодня немислимые унижения.

5

Тель-Авив отличался от Иерусалима куда больше, чем может отличаться просто приморский пальмовый город от хвойного города на горах. Здесь по-другому текло время, иначе двигались люди. Они иначе одевались – будто невидимое око, что вечно держит стражу над Иерусалимом, здесь опускало веко и засыпало, позволяя обитателям побережья жить так, как в Иерусалиме жить просто непозволительно. Оно до времени спускало им многое, чего бы не спустило жителю Святого города, вынужденного дышать разреженным воздухом над крутыми холмами.

Иерусалимцы, когда им нужно было съездить по делам в Тель-Авив, говорили: «Сегодня я должен спуститься». Тель-авивцы не представляли, как можно жить в городе, каждую минуту предъявляющем тебе счет к оплате.

Зяме нравились только тель-авивские старухи с их аккуратно подбритыми, седыми волосами на морщинистых шеях, похожих на растрескавшуюся летом глинистую почву – такыр, с их малиновым маникюром на пальцах, с шестизначными лагерными номерами, выколотыми на дряблых руках.

Возвращаясь с работы, Зяма свободно вздыхала лишь тогда, когда автобус въезжал в «Ворота ущелья», откуда начинался подъем в город по Иерусалимскому коридору.

Отсыпалась она обычно в автобусе, на обратном пути в Иерусалим.

Кайф прилипшей за эти несколько лет привычки: вскарабкаться по неудобной угластой лесенке на второй этаж, при этом непременно получив по зубам ствол «узи», свисающим с мясистой задницы какой-нибудь восходящей впереди тебя солдатки.

Второй этаж – мечта идиотки: уместиться в ворсистое кресло у окна и задремать... Уснуть. И видеть сны.

И дремать на всем протяжении пути, блаженно ощущая безопасность дороги.

Впрочем, относительную безопасность. Года за полтора до их приезда на этом шоссе Тель-Авив – Иерусалим, на участке горного серпантина, погибла тьма народу вот в таком автобусе. Дело обычное: террорист вырвал у водителя руль и направил автобус в пропасть. Ну, и так далее.

И все-таки. Все-таки это вам не разбитая дорога через арабскую деревню Аль-Джиб...

Забавно, что просыпалась она на одном и том же отрезке пути, на вираже, где шоссе подкатывало и бежало несколько сот метров вдоль чудной картинке, местечка Бейт-Зайт: виллы под черепичными крышами карабкаются в лесистую гору, подпирающую Иерусалим.

Она просыпалась, разминала занемевшими руками шею... Минут через десять выскакивала из автобуса в бестолковщину автостанции, битком набитой солдатами, хасидами, нищими, широко шагающими пожилыми монахинями с опрятными лошадиными лицами; белобрысыми скандинавами, у которых со лбов и ушей свисают перевитые цветными нитками косицы. Со статными чернобородыми красавцами – священниками армянской церкви, с давно уже не новыми новыми репатриантами, что-то дотошно выясняющими у девушки в окошке информации.

Странно, что и здесь, то натываясь на автомат, то спотыкаясь о брошенный посреди тротуара вещмешок, она все еще физически ощущала и берегла, даже баюкала в себе это чувство личной безопасности. Странно и глупо: чуть ли не каждую неделю станцию оцепляла полиция, теснила по сторонам толпу, и люди привычно ждали, когда разберутся с очередным подозрительным тюком под скамейкой.

Ну-с, автобус номер двадцать пять до Французской горки. Вот и все.

Здесь, на развязке дорог, жизнь разделялась, как и дороги: за спиной оставались многоэтажные дома respectable района Гиват Царфатит, направо шоссе ныряло под новый мост и мимо белого безмятежного городка на горе – Маале-Адумим – уводило к Мертвому морю.

Прямо бежало стратегическое шоссе на Шхем, проложенное сквозь густонаселенные арабские города Рамалла и Аль-Бира. По краям этого шоссе, сразу за перекрестком, начинались виллы арабской деревни Шоафат.

Налево пойдешь... Направо пойдешь... Прямо пойдешь. В этом месте, на обочине шоссе, на асфальтовом пятачке возле затрапезной, бобруйского вида синагоги, ждали попутки жители поселений северной ветки. Сюда, к пятачку, и подкатывал автобус номер двадцать пять, и здесь, рядом с врытой в землю деревянной скамьей и телефоном-автоматом под металлическим козырьком, можно было топтаться часами. Зимой – под проливным дождем, летом – обморочно уплывая в сухом печном жару.

Номер этого телефона-автомата знали все поселенцы, на него звонили.

Вот и сейчас зазвонил телефон. Зяма сняла трубку. Детский голос сказал насморочно:

– Леу? Позови маму. Рони обкакался и плачет.

– А кто – мама? – спросила она. В трубке подумали, вспоминая.

– Мири. Мири Кауфман из Кохав-Яакова.

Она обернулась и крикнула в небольшую группку поселенцев:

– Мири Кауфман – Кохав-Яаков – есть?

Тонкая, в свободном черном платье женщина, с рюкзаком за плечами, по-солдатски отчеканив: «Я!», метнулась к телефону.

И тут подкатил красный «рено» Хаима Горка. Как обычно, Зяма обрадовалась, засуетилась, бросилась к кромке тротуара, боясь, что он ее не заметит... Но Хаим – военная косточка – как и было договорено, подъезжал обычно к условленному часу, а если и раньше, то ждал несколько минут. Но это случалось крайне редко, она всегда старалась приехать загодя, минут за десять.

Хаим громко объявил в спущенное окно:

– Неве-Эфраим! – А она уже ввалилась рядом на переднее сиденье. Сзади, пыхтя и что-то бормоча, долго приспособивалась с авоськами толстуха Наоми Шиндлер. Наконец тронулись.

– Стоп, – сказал Хаим, тормознув и глядя в зеркальце. – Вон бежит Джинджик⁶ Гросс, возьмем его. Зяма, ну, крикни ему, он нас не видит.

Взяли запыхавшегося и довольного Джинджика – действительно красно-рыжего мальчика лет одиннадцати – Зяма не помнила, как его зовут, – пятого или шестого в семействе Давида Гросса.

Поехали... Замелькали арабские виллы по обеим сторонам дороги.

– Наоми, – пробурчал Хаим, – подними стекло, если ты не возражаешь.

Она вдруг подумала: ничего, ничего не поймешь в этой жизни, в этих людях, в этой езде с ними по этой проклятой дороге в это чертово поселение посреди арабского города, принципиально не огороженное забором. Подними стекло, Наоми, если ты не возражаешь, – бытовая, секундная просьба, коротенькое, почти бездумное движение... Если ты не прочь пожить еще, Наоми, подними стекло, пожалуйста. Если тебе неохота получить камнем в висок, Наоми, будь любезна... Чтобы отцу твоих детей не пришлось – упаси Боже! – читать кадиш по своей жене... Наоми, будь так добра... ну и так далее, возможны вариации...

Проехали поворот на Неве-Яаков, закончились дома и магазины деревни Шоафат, началась Рамалла. Если добираться на автобусе, то в этом месте, рядом с издали заметной виллой из розового камня, в автобус всегда входили сопровождавшие – два солдата с автоматами и

⁶ Джинджи – рыжий.

рацией. Это место было некоей невидимой границей, за которой опасность поездки признавалась безусловно существующей.

Муж всегда просил Зяму добираться на автобусе, «культурно» – с автоматчиками и рацией. Но скоро из Рамаллы выведут части ЦАХАЛа, и будет уже все одно – как добираться. Удивительно, как высшие силы, словно кожуру с луковицы, снимают упования простого смертного: упование на силу оружия, упование на здравый смысл, упование на людское сострадание, упование на чью-то добрую волю... Оставляя в итоге лишь одно: упование на волю Божию.

Как обычно, у нее непроизвольно напряглись мышцы шеи – это всегда происходило и усиливалось по мере приближения к повороту с центрального шоссе, рядом с мечетью, где, свернув, узкой, петляющей между каменными заборами улочкой машины поднимались в гору. Здесь, на вершине горы, подковой лежал Неве-Эфраим, небольшое поселение над Рамаллой.

Господи, сколько еще лет надо прожить в этом месте, сколько тысяч километров дороги намотать, чтобы не чувствовать так позорно, так жалко своей застывающей в параличе шеи? Истрепанные нервы, психоз полоумной дамочки: почему-то она была уверена, что если пуля – то непременно в шею.

В эти семь минут она старалась не думать, не концентрироваться на шее – какие-то несчастные семь минут...

– Джинджик, где ты болтался так поздно один? – спросил Хаим, делая суровое лицо в зеркальце.

– Я не один, – мгновенно, как все рыжие, залившись краской, торопливо ответил мальчик. – Я с папой, а он еще должен сделать покупки, а мне еще уроки делать, а мама сегодня родила мальчика.

Они втроем дружно гаркнули: «Мазаль тов!» – Зяма громче Хаима и Наоми, она всегда радовалась прибавлению в Неве-Эфраиме.

– Опять – мальчик?! – в притворном ужасе воскликнула Наоми Шиндлер. – Когда же будет девочка наконец?

Джинджик покраснел еще гуще и сказал:

– В будущем году, с Божьей помощью.

– Ты уже видел маленького?

– Да! – сказал Джинджик, сияя. – Он такой мотэк! Папа сказал, мы назовем его Ицхак-Даниэль.

– Замечательно, – сказал Хаим, заворачивая в улочку перед мечетью. – Всем отстегнуть ремни.

Вот эти три минуты были как три глубоких вдоха. Вдох: резкий поворот направо, магазин бытовых товаров, вилла с цветными стеклышками в окнах террасы, запущенный пустырек с тремя могилами; вдох: поворот налево, глухой забор с двух сторон, и, следовательно, возможность заработать камень, бутылку «Молотова», пулю; вдох: еще налево и круто вверх, приземистые дома с помойками, ряды оливковых деревьев, последний арабский дом, несколько метров пустой дороги и наконец ворота, шлагбаум, будка охранника: выдох, выдох, вы-ы-ы-дох...

Хаим гуднул перед шлагбаумом, в окне будки показалась белесая физиономия Иоськи Шаевича. Он махнул рукой, шлагбаум поднялся, они въехали на территорию поселения Неве-Эфраим.

– Зяма, – сказала Наоми Шиндлер, – твой пес опять нагадил на моем участке.

– Что ты говоришь! – воскликнула Зяма, делая вид, что удивляется и негодует. – Я ему скажу!

Джинджика и Наоми высадили возле водонапорной башни, а Зяму Хаим всегда высаживал на том краю поселения, где под гору спускались ряды вагончиков. В них жили семьи, недавно приехавшие сюда и еще не вросшие в эту вершину, еще не решившие – вратать ли в это опасное место.

– Как твоя спина? – спросила она Хаима, приоткрывая дверцу машины.

– Болит, как болела, *майн кинд*.

– Ты был у врача? Какой они ставят диагноз?

Она так и сказала – «диагноз». Хаим знал несколько языков, она разговаривала с ним свободно, подпирая беседу, если это требовалось, подвернувшемися под руку общеиностранными словами.

– Диагноз называется «молодой-пройдет», – сказал он. Хаиму весной исполнилось шестьдесят восемь.

– Все пройдет, *майн кинд*, – сказал он. – Еще немного, и все пройдет...

...Вагончик этот назывался по-здешнему «караван» – как-то странно, не по делу. Но если взглянуть отсюда, сверху, на спускающиеся под гору однообразные ряды вагончиков, в воображении и впрямь возникал караван, медленно вползающий в лысое мшистое ущелье.

Вагончик, где жила ее семья, стоял у подножия горы, на самом краю поселения. Дверь распахивалась в захватывающее дух пространство далеких и близких холмов, долин, ущелий, которые видны были разом все, – эффект здешней топографии. Например, на боку шестой отсюда, ржаво-зеленой горки, как в бинокль, видна была группа олив, издали напоминавших рассыпанные кочаны брюссельской капусты; в ясный день вокруг этих кочанов ползали букашки овец и двигалась белая точка – куфия на голове пастуха-араба.

Проклиная каблуки, Зяма стала спускаться по асфальтированной узкой дорожке круто и извилисто вниз (ей-богу, лучше б оставили первозданную тропку с кустиками по краям), а снизу, от последнего «каравана», уже бежали к ней в сумерках семилетняя дочь и собака – годовалый тибетский терьер, возлюбленный пес, – облаивая и обкрикивая округу...

6

Сашка Рабинович хотел разбогатеть. Окончательно. Чтоб навсегда забыть о деньгах, которые, в сущности, он не любил. Сашка не был алчным человеком, наоборот, его щедрость и широта славились в округе.

Редкая птица не прилетала в субботу посидеть на его террасе, полюбоваться на Иерусалим, поклевать семечки и орешки, запивая их стаканом сухого красного.

Нет, Сашка не любил деньги и никогда не знал, сколько их у него. Не интересовался. Но когда они кончались, приходилось придумывать и создавать очередной источник дохода, который со временем неизбежно иссякал.

Первые месяцы после приезда Сашка раз в неделю подрабатывал на радиостанции «Русский голос» – Всевышним. Получал соответственно – 300 шекелей в час.

Это была религиозная передача для советских евреев. Работали они на пару с Семой Бампером. Когда Сема, к примеру, читал:

– «И сказал Господь...»

Сашка вступал своим обаятельным мягким баритоном:

– «И уничтожу у тебя всяк мочащегося к стене...»

Потом загадочный американский спонсор, решив, очевидно, что русских евреев скопилось на Святой земле достаточно, перестал давать деньги на эту затею, и должность Всевышнего на радио была упразднена, хотя сам Он, да святится Имя Его, конечно же, вечен...

Затем некоторое время Сашка, как многие здесь, водил экскурсии. Он бросил это неблагодарное занятие после того, как один скандальный турист из Боярки отнял у него свою, уже уплаченную за экскурсию, десятку. Туриста потрясло отсутствие еврейского Храма.

– Что это, вот это?! – спрашивал он, брезгливо кивая на остатки Западной Стены (тоже, между прочим, не маленькие). – За что ж вы деньги-то гребете?

– Я разделяю ваше разочарование, поверьте, – с достоинством отвечал Рабинович. – Но Храм сожгли римляне в начале новой эры.

– Так предупреждать же надо!!! – оскорбленно орал тот.

Боярка, как известно, довольно крупный поселок городского типа. Но можно допустить, что вести доходят туда не скоро.

Будучи талантливым театральным художником, Сашка знал, что для всего в жизни требуются соответствующие декорации: для Любви и Смерти, для Одиночества и Пира, для Радости и Битвы. Что же касается Добывания Денег, тут нужны декорации особого рода – переносные, удобные, легко складывающиеся, многофункциональные. Тут нужен интеллект, пространственное воображение, инженерный подход к делу.

Для начала – поскольку надо же было где-то жить – он возвел декорации Дома, для чего вступил в строительный кооператив «Маханэ руси» («Русский стан»).

Ряды строящихся коттеджей этого нашумевшего кооператива и впрямь были вылитые декорации: фирма строила по бельгийскому проекту, не опробованному еще в условиях местного климата, – стены из толстой фанеры, впоследствии обложенные камнем.

Фанерная стройка произвела на будущих жильцов столь глубокое впечатление, что многие пайщики, плюнув на убытки, срочно покинули ряды «Русского стана».

Сашка же Рабинович, привыкший к условиям сцены, бродил меж фанерных щитов радостно возбужденный, ему нравилось, что на второй этаж будет вести деревянная лестница (тоже по виду и цвету подозрительно смахивающая на фанеру), что во внутренних стенах легко

будет вырезать окна разных форм и размеров, и, наконец, ему нравилось то, что окружать коттедж будет полоска земли, на которой он собирался возвести декорации Сада.

На завершающем этапе изнурительно долгого (из-за отсутствия нужного числа пайщиков) строительства, когда голые фанерные щиты прикрыли плитками бело-розового, похожего на бруски пастилы, иерусалимского камня, а затем и черепицу настелили, – эти декорации, как и положено хорошим декорациям, стали удивительно напоминать настоящие дома. И хотя полки с книгами вешать на стены все-таки не советовали, а звукоизоляционную прокладку между первым и вторым этажом строители положить забыли, новоселы шхуны «Маханэ руси» с энтузиазмом въехали в свои новенькие дома и бодро принялись сажать на полосках собственной земли кусты бугенвиллеи, цветущей, как известно, избыточно яркими фиолетовыми, бордовыми и розовыми соцветиями.

Вот тут-то нужда и схватила Рабиновича за горло. У него потянулась полоса неоправданных расходов.

Взять хотя бы эту чертову террасу.

Дома кооператива «Маханэ руси», как ласточкины гнезда, лепились вверх, на склоне горы, на вершине которой и раскинулся эллипсом их городок, по сути – спальный район Иерусалима.

Из окон новеньких коттеджей открывался эпохальный вид для паломников. Масличная гора и гора Скопус лежали на горизонте, как груди, полные молока мифов и легенд. Сосками торчали на их вершинах башни университета и госпиталя Августы-Виктории. Извилисто бежала меж этих грудей дорога из Иерусалима к Мертвому морю. Она была унижена фонарями, которые с наступлением сумерек затепливались, почти сливаясь с угасающим светом дня, затем наливались топленным молоком, густевшим с каждой минутой, и вскоре сверкали во всю мочь, словно низку топазов бросили сверху на черные горы.

Глупо было не соорудить террасу с видом на этот мифологический пейзаж. Небольшую, но просторную. Метришков на сорок.

Денег вот только не было...

И тогда Доктор, человек бывалый во многих отношениях, ведущий специалист по депрессиям и самоубийствам в среде репатриантов, посоветовал надежного недорогого араба из соседней деревни Аль-Азария, где, согласно христианским источникам, произошло воскрешение Лазаря, пресловутого еврея.

Араб привел с собой другого, тоже не дорогого, с экскаватором. Они удивительно быстро разровняли на склоне под Сашкиными окнами широкую прямоугольную ступень, за считанные часы замостили ее плитками иерусалимского камня, возвели невысокие бортики с нишами для глиняных псевдоантичных амфор... Из ничего, из мечты возникла терраса, живописно нависающая над обрывом; как фуникулер, плыла она навстречу Иерусалиму или отчаливала от причала Масличной горы – в зависимости от направления бегущих облаков.

Эх!!! Сашкина душа пела.

Вызванный для экспертизы Доктор одобрительно поцокал языком, прошелся в сандалиях на босу ногу по новенькому гладкому полу.

– А ведь сезон дождей на носу, – задумчиво проговорил он, – вот будет интересно, если эта античная роскошь в обрыв хобнется...

Сашка забеспокоился. Арабы ждали расчета.

– Забери-ка у него паспорт, – посоветовал Доктор. – Если что – вытрясешь душу.

Рабинович сказал арабу насчет паспорта. Ивритом они владели примерно на одном уровне, араб даже получше. Он подозрительно легко оставил у Сашки свой иорданский паспорт. Так ящерица оставляет хвост тому, кто на него наступит.

Через неделю начались дожди, и в первую же бурную ночь стихия, как вафлю, надкусила новенькую Сашкину террасу, изрядный ее кусок выплюнув в овраг.

Вызванный для экспертизы Доктор осторожно подступил к краю террасы, попробовал ногой качающуюся плитку – так купальщица пробует температуру воды, – плитка сорвалась и, крутясь, полетела вниз.

– Арабская работа, – проговорил он задумчиво, – я тебя предупреждал... Ну что ж, езжай в Аль-Азарию и приволоки его за яйца.

Рабинович сел в машину и поехал в деревню. Какие там, извините за выражение – яйца! Из знакомого дома вышел старый араб в клетчатой куфие и с вялым интересом выслушал негодующего Рабиновича. На требование вызвать сына сказал, что Мухаммада нет, он ушел в Иорданию.

– Как – ушел? – удивился Сашка. – У меня ж его паспорт.

Араб уже с большим интересом смерил его взглядом и тихо спросил без малейшей иронии:

– *Адони*⁷, может, у тебя и жена одна?

Впрочем, добавил старик, у него есть еще девять сыновей, и все знают эту работу, могут подправить обвалившуюся террасу. И тоже не дорого.

– Нет, – сказал Рабинович. – И жена у меня одна, и девять иорданских паспортов мне не нужны. Разве что группу диверсантов готовить. Но это в другой раз.

Он закупил мешок цемента, плитку, мастерки, и вдвоем с Доктором, разнообразно матерясь по-русски и по-арабски, они криво и косо, с грехом пополам подправили террасу. До известной степени это тоже была арабская работа.

Когда кончился сезон дождей, Сашка по дешевке раздобыл большой пластиковый стол и такие же стулья, и терраса стала излюбленным местом встреч обитателей квартала «Русский стан». Какие только идеи не зарождались здесь, какие только замыслы не воплощались!

А по вечерам, когда со стороны Иерусалима поддувал легчайший ветерок и фонари по дороге к Мертвому морю наливались топленным молоком, разгораясь все ярче и превращаясь в низку сверкающих топазов, когда на черное небо всплывал маслянистый блин луны или золоченая, как дешевый сувенир, турецкая туфелька молодого месяца, редкая птица не прилетала на эту террасу: поклевать орешки, обсудить будущее Большой алии, разведать новости, запиная их стаканом красного сухого с задушевым названием «Врата милосердия»...

А время от времени, когда угрожающе накренился тот или другой край террасы или отваливалась и летела в овраг очередная плитка, Сашка брал мастерок, замешивал горсть цемента и на живульку подправлял это дело.

* * *

Ближайшей соседкой Рабиновича по шхунé оказалась Ангел-Рая. (Грамотней-то по-русски сказать – «кварталу», да соблазнительно сравнение шхуны «Маханэ руси» с настоящей, до известной степени, флибустьерской шхуной, плывущей впереди горы, как плывет впереди корабля резная сирена на носу, раздвигая воду деревянными грудями.

Да и команда шхуны-шхуны...

Нет, конечно, невозможно сравнивать интеллектуалов русского квартала с матросским сбродом, что набирали боцманы пиратских брига по портовым тавернам старушки Англии... И все-таки. Глянешь порой на ту или иную лохматую бороду, промелькнет за углом узкой улочки некий горбоносый профиль, качнется под ногами палуба, земля то есть, особенно по субботам, когда команда шхуны «Маханэ руси» воздавала должное святому дню и из распахнутых дверей каждого дома неслись субботние песни... и так и чудилось, что припев закончится известным «Ио-хо-хо! И буты-ылка рому!»... Словом, хочется почему-то квартал «Рус-

⁷ Адони господин мой.

ский стан» называть – как, собственно, и называли его в округе – шхунá «Маханэ руси». А стиль... бог с ним, со стилем!)

Так вот, к счастью, ближайшей соседкой Рабиновича оказалась Ангел-Рая, и Сашка сразу сообразил, что рука об руку с этим гениальным режиссером можно закатывать такие грандиозные шоу, гала-концерты и вселенские оперы в природных декорациях Иудейской пустыни, что – согласно пророчествам – расступятся горы, выйдут потоки из Иерусалима, и соберутся в долине Иосафата все народы земли, и будет их судить Великая Русская алия.

Для начала на базе Духовного Центра и под эгидой международного Центра Русских библиотек (разумеется, как глава Русской Иерусалимской библиотеки его курировала Ангел-Рая) был изобретен проект МЦЕПОТУ – Международный Центр Помощи Отстающим Ученикам.

Ах, оставим эти «базы»! Страстное желание Сашки разбогатеть, его воображение, помноженное на государственный размах Ангел-Раи, для которой ничто было не лишне; голоштанная башковитая советская публика, которую, как непереваренной пиццей, маялось израильское общество; сметка, хватка, судьбы рулетка – вот она, «база», на которую опирался проект с таким трудно выговариваемым названием.

Немедленно была запущена машина по составлению текста проекта, переводу его на английский и иврит, по сбору подписей именитых и влиятельных лиц, по представлению проекта в разнообразные фонды, эти огромные развесистые груди, питающие обитателей Святой земли тем самым молоком и медом... Первым делом – как это здесь водится – создали *амуту́*, омут такой; такой вроде кооператив, бесприбыльный, но...

Когда дело касалось подобных *амутом* (омутов) в области культурной, да еще с таким-то международным размахом, предполагался представительный синклит почетных членов.

За ними в карман не полезли: помимо домашних знаменитостей, вроде известной писательницы Н., в почетные члены омута избрали посла России (толстого господина с тростью, которого все здесь за что-то любили и чрезвычайно почитали, – природа любвей и ненавистей на местной почве еще не изучена), и американского поэта Иосифа Бродского.

Первый узнал об этом за завтраком, листая газету «Регион», второй понятия не имел, и так и не узнал до самой смерти. (Ангел-Рая, признаться, еще при жизни поэта подбивала известную писательницу Н. написать ему «от всех нас» письмишко, просто так, от души, но та сказала, что, по слухам, господин сей желчен, и если что не по нем – отбывает.)

Ну-с... Далее по сценарию следовали челночные встречи организаторов проекта с мэрами Тель-Авива и Иерусалима, ректорами столичных университетов, учредителями благотворительных фондов, женой президента Израиля и прочая, прочая, прочая, и несть им числа...

И средства – что бы вы думали? – были получены!

По порядку: от иерусалимского муниципалитета, из христианского фонда «От Единого Бога к единой религии», из богатейшего фонда «Наружный», учрежденного вдовой одноименного покойного адвоката.

Приличный кусок преподнес фонд общества секс-меньшинств – «Обнимитесь, миллионы!» – с условием, что в будущем с отстающими (но к тому времени подтянувшимися) учениками Центра учредители данного симпатичного фонда проведут ряд гуманитарных встреч.

Сашка Рабинович, человек, между прочим, религиозный, мрачно заметил на это, что Тора велит побивать камнями учредителей подобного гуманитарного фонда. На что Ангел-Рая нежно проговорила – успеется.

(В дальнейшем Сашка смирился с этим источником доходов, и составляя смету на очередной проект, мрачно осведомлялся у Ангел-Раи: «А пидорасы дадут?» или директивно: «Выколотить из пидорасов!»)

Так что сработали кое-какие письма и телеграммы.

И даже из личного фонда папы римского на дело помощи нерадивым ученикам было выделено 500 долларов. А с этого типа (которого Ангел-Рая втайне считала конкурирующей фирмой), как известно, нелегко слупить копейку.

Словом, дело пошло. Отстающие ученики повалили валом. В доме Рабиновича, которого посадили на честно заслуженную им ставку куратора, не умолкал телефон.

– Черт знает что! – говорил он, записывая данные очередного балбеса и довольно потирая руки. – Откуда среди еврейских детей столько двоечников?!

Попутно были трудоустроены толпы безработных пожилых учителей, в прошлом – грозных Абрамосоломонычей и Ефимевсеичей, легендарных преподавателей московских и ленинградских спецшкол. Стоит ли говорить, что в скором времени отстающие ученики стали получать призовые места на всеизраильских физико-математических олимпиадах.

Сашка Рабинович уже задумывался о создании (конечно же, под эгидой Ангел-Раи) Международной актерской школы, куда слетался бы на мастер-классы цвет мирового театра. Уже прошли предварительные встречи со знаменитым московским режиссером, живущим ныне в Иерусалиме, живой легендой, идолом советских театралов, гривастым львом с изумительной красоты резным крестом на распахнутой старой груди...

Уже завязывались планы приглашения к нам Клода Лелуша, Питера Брука, да и Бежара, чем черт не шутит...

И тут произошло...

И вдруг...

Внезапно...

Умерла Ангел-Рая.

Это было так неожиданно и так страшно, что лишь сейчас, спустя три года после описываемых событий, русская община Иерусалима начинает оправляться от перенесенного ею горя.

Началось все вполне банально. На фоне вялотекущего гриппа Ангел-Рая подхватила вирус инфекционного менингита. Придя с работы (из библиотеки Духовного Центра, где проходили очередные поэтические чтения на тему «О Родина!»), она сказала мужу – интеллигентному и молчаливому инспектору транспортной полиции:

– Васенька, я умираю...

Она плыла и заговаривалась. Мужа на самом деле звали Фимой.

Безгранично преданный ей муж бросился на кухню – за водой. Когда он вернулся, Ангел-Рая сидела на полу, странно подогнув ноги, поминутно теряла сознание и несла чепуху.

Перепуганный муж погрузил ее в машину и повез в приемный покой одной из крупнейших клиник Иерусалима.

Повторяю: ситуация банальная и для местных специалистов плевая. Не о чем говорить. В России, конечно, Ангел-Рая бы умерла.

Но израильская медицина, как известно, одна из лучших в мире. Ее достижения давно перешагнули самые фантастические рубежи. Здесь оплодотворяют пожилых женщин, бесплодных, как пустыня. Впрочем, и пустыню здесь заставляют плодоносить, как цветущую женщину. (Что касается оплодотворения пожилых, и даже весьма пожилых, женщин, то в еврейской истории подобные случаи уже были.)

Недоношенный пятимесячный плод здесь не выбрасывают в ведро, а помещают в инкубатор и дорастивают на радость обществу. Глядишь – со временем из такого выкидыша вырастет Эйнштейн. Ну, может, не Эйнштейн, может, чиновник Сохнута, сука, мошенник и казнокрад, – а все равно приятно!

Да что там! Здесь заменяют человеку все органы на новенькие, прочищают (как вантузом – канализационную трубу) вены, артерии и мельчайшие сосуды, меняют клапаны сердца... в общем, об этом уже неинтересно упоминать, об этом даже юмористы писали.

Словом, израильская медицина грандиозна. Просто ее не интересуют живые люди со всякой их ерундой вроде гриппа, дифтерита, чумы или холеры. Здешним специалистам интересно оживить труп, причем, желательно, лежалый. Тогда на него накинута и силами лучшей в мире медицины воскресят из мертвых. Впрочем, и это в нашей истории уже было.

Так вот, Фима, муж, инспектор транспортной полиции, выгрузив беспамятную Ангел-Раю в приемном покое, стал бегать, хватая врачей за развевающиеся халаты, преданно заглядывая в глаза каждому санитару и наглецу-практиканту. Часа через полтора к Ангел-Рае подошли, вкололи один из чудодейственных жаропонижающих препаратов (см. достижения израильской фармакологии), сбили температуру и велели убираться домой и больше не соваться с пустячным гриппом в серьезные лечебные учреждения.

– Как – домой?! – пролепетал потрясенный Фима. – Она ж продолжает меня Васей называть...

Но из-за мягкости характера вынужден был подчиниться и увезти Ангел-Раю домой. Повторим: в России при подобных обстоятельствах она бы как пить дать умерла...

Уже на рассвете «амбуланс» с телом Ангел-Раи мчался по разделительной полосе, характерно и страшно завывая. Похоже было на то, что Ангел-Раю и в Израиле ухитрилась умереть. Над нею распростерся белый и невменяемый муж, инспектор транспортной полиции.

Он вбежал в приемный покой вслед за носилками с телом жены и выхватив табельное оружие, закричал, что лично и немедленно перестреляет сейчас всех проклятых жидов, врачей-вредителей. Возможно, его покойная жена не на пустом месте заговаривалась.

Инспектору что-то вкололи, уложили на кушетку, и он затих. А тело Ангел-Раи уволокли в Святая Святых. Над ним сгрудились специалисты высочайшего класса. Чуть ли не с трапа самолета был снят улетающий в отпуск на Канарские острова ведущий хирург клиники. Лучший анестезиолог не ушел домой после суточного дежурства.

Это была настоящая работа. Труднейшая, почти невыполнимая задача. Истинное и высокое искусство...

В это время обезумевшая от горя, осиротевшая русская община клекотала и билась, угрожая выплеснуться за края правопорядка. Поговаривали о сидячей демонстрации перед кнесетом. Поэт Гриша Сапожников разбил палатку перед Дворцом правосудия и начал голодовку протеста. К своему постоянному плакату «Я не ем уже тринадцать суток» он добавил плакат: «К ответу преступных эскулапов!»

Самые разные люди готовы были бежать и сдавать для Ангел-Раи свою кровь, костный мозг, почки и легкие. У Стены Плача, ни на минуту не прекращая вымаливать у Всевышнего жизнь для этой женщины, сменяли друг друга представители религиозных слоев русской общины. Раввин Иешуа Пархомовский в субботней проповеди заявил, что, в случае невозвращения Ангел-Раи в этот мир, следует ходатайствовать перед президентом Израиля об объявлении по стране недели национального траура.

Да что там говорить! Ангел-Раю все любили.

Ее любили даже жертвы ее интриг.

Спустя несколько дней после кончины Ангел-Раи Сашке Рабиновичу удалось прорваться к ней в палату.

То, что он увидел (пишут в таких случаях), повергло его в смятение.

Сквозь частокोल штативов, окружающих койку, Сашка разглядел распластанное и накрытое простыней тело. К нему вело множество проводов, проводков и проводочков, даже из ноздри проволока торчала.

Череп Ангел-Раи был обрит, желтоватое лицо скособочено самым окаменелым образом, рот не отцентрован. Она была мертва.

Сгорбившись, сидел Рабинович на стуле, свесив кисти рук между колен. Его трясло.

– С-са... – вдруг слабо донеслось из кривого неподвижного рта. – Н-ну... к те... усе... ни... ки... хо... зят?

– Ходят! – выпалил Сашка, вздрогнув от неожиданности: мертвое тело издавало звуки.

– Ты... рас-сы... сание... са-са... вил?

– Составил! – подтвердил Сашка, подобострастно тараща глаза на бритую мумию Ангел-Раи. И вдруг заплакал от умиления...

Когда дежурный врач стал гнать его в шею, Сашка спросил:

– Скажи – она будет жить?

Тот оглянулся на частокол штативов и озадаченно потер пальцем переносицу.

– А что... – пробормотал он. – Весьма возможно...

Спустя месяц абсолютно седой и обезумевший муж Фима забрал домой косую, глухую и полупарализованную Ангел-Раю.

Он пил на кухне водку и молча вытирал ладонью сбегающие к подбородку слезы. Время от времени из спальни раздавалось жалобное: «Ва-сенька!» – и он бежал: поднять, посадить, перевернуть, переодеть...

Что там долго рассказывать! Жалкие останки бесподобной женщины были брошены на руки русской общины. Стало очевидным, что услугами этой израильской медицины пусть пользуются наши враги. Спасения следовало ждать только от своих.

И за Ангел-Раю взялись свои...

Альтернативщики: травники, гомеопаты, иглоукальватели, суггестологи, массажисты и экстрасенсы – буквально не давали ей дух перевести. Один из «своих», специально для этого смотавшись в Москву, привез загадочный биокорректор – круглый талисман, содержащий в себе сплав из шестидесяти видов минералов, металлов и водорослей – последний писк суггестологии. Талисман требовалось носить меж грудей, он спрямлял биополе.

Другой торжественно принес и вручил инспектору транспортной полиции хрен моржовый – довольно крупный экземпляр, сантиметров в шестьдесят – действительно, как выяснилось, существующий в природе, и действительно, как это ни странно, представляющий собой кость. Хрен моржовый, подаренный неким шаманом в арктической экспедиции (его владельцу? как это сказать без неприятной в нашем случае двусмысленности?), – следовало повесить над кроватью. Он тоже на что-то страшно благотворно влиял и что-то мощно спрямлял...

И наконец в один прекрасный вечер (довольно занудный «Вечер взаимодействия двух культур») из подъехавшей к Духовному Центру машины вышла прелестная – на сей раз медного оттенка – рыжеволосая женщина и величавой походкой поднялась по ступеням в зал.

На ней было умопомрачительное, простого – якобы – покроя лиловое платье (из той материи, что по двести сорок шекелей за метр). К тонкой талии, как тяжелый маятник, был подвешен зад, совершавший мерные плавные раскачивания. Из обнаженного плеча полноводным ручьем выбегала холеная белая рука с единственным, но платиновым браслетом и одиноким, но крупным сапфиром на пальчике.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.